

Н а свидание с Полиной я опаздывал уже на полчаса, но свою мощную «пятерку» БМВ не гнал, ехал в потоке за стареньким автобусом. А мобильный телефон настроил «вне зоны доступа». Я не собирался досадить Полине, которая сейчас ждала меня к обеду, — готовила она, кстати, мастерски, — но хотел дать понять, что наш роман заканчивается, что встречаемся с ней в последний, ну, может, не в последний, но последние разы; необязательность, опоздания, отсутствие цветов и подарков в руках — это знаки той самой близкой разлуки, которую я наметил на нынешнюю весну.

Хотелось бы порвать разом — сегодня же! — в теплый апрельский день, как раз перед отпуском, который я не собирался проводить с Полиной, но по опыту я знал: не со всеми — ох! не со всеми! — женщинами можно порвать враз, в один день, иногда лучше, менее болезненно затянуть бодягу на несколько недель-месяцев, чтобы постепенно рассосалось...

Я и женщинам, с которыми встречался, объяснял, даже учил их: нельзя, не резон бросать мужчину резко, в одночасье уходить от мужа или сожителя, или лю-

бовника. Конечно, не всякий мужчина, но большинство очень привязываются к женщине и страдают смертельно, потеряв спутницу, а если еще она ушла в открытую к другому, впадают в безумство ревности, в пьянство, деградируют. «Если ты, голуба, надумала со своим мужиком порвать, — наставлял я своих подруг, потрясывая перед ними указательным пальцем, как перед ученицами, — сделай это плавно, пластично: раз-другой не явись на свидание, опоздай, отъездь куда-нибудь на месяцок, найди сотню причин, чтобы не спать с ним, прикинься больной... И так постепенно создай в мозгах мужчины фундамент, на который он и сам сможет положить стену отчуждения... (Я строитель, поэтому термины «фундамент», «стена» для меня привычные). А рубить одним телефонным звонком: «Все, больше никогда не приходи!» — это не дело, это конфликт, слезы, ругань, оскорбления...»

От Полины я тоже не хотел слез, ругани, оскорблений. По большому счету, мы не так уж плохо провели вместе больше года. Ну, а дальше и глубже, пожалуй, не стоит. «Не она первая, не она последняя», — шепнул я себе тихо, по секрету. Но тут же осекся, поглядел в зеркало заднего вида. Седина на висках и уже по всей голове. А седина не красит. Может быть, облагораживает, но не красит. Мне уже сорок пять. Эта дата казалась рубежной, коварной. За ней начинается старость. Сперва прямиком к полтиннику, а там — к пенсии. И... финиш. Дембель.

Не так давно я пришел в кассу покупать билет на самолет, кассирша предупредила: паспорт срочно меняйте, скоро недействителен будет. А в паспортном столе обыкновенно недовольная тетка в окошке с обыденным цинизмом сказала:

— Надо сфотографироваться. Выдадим последний паспорт.

— Почему последний?

— После сорока пяти... последний.

Этот «последний» паспорт слегка перевернул мир. Жизнь будто покатила вниз. «Последний»... Значит, все последнее. А у меня к старости нет семьи, нет любимой женщины. «А Полина? — словно бы дразня себя, спросил я. — Полина уже не считается».

Город наш Гурьянск — провинциальный, большой районный центр, жителей до сотни тысяч, но все друг друга знают и все про всех знают. Полина овдовела года три назад. Мне она рассказывала, что ее муж в последнее время часто болел, но продолжал употреблять горькую. Умер в постели «после запоя». Другие «добрые» люди донесли мне подробности смерти Полининого мужа: со слов ее «лучшей» подруги, которая была у нее в тот день в гостях, муж якобы просил Полину сходить в магазин и купить ему «чекушку». Она не пошла. По телевизору шел новый сериал, который она не хотела пропускать. Так и умер ее суженый, не дождавшись похмельного стакана. Возможно, жил бы, если бы не телесериал... Сколько правды было в этой истории, я определить не возьмусь, но то, что Полина ради дурацких сериалов готова плюнуть на все, — это на нее очень похоже. А если я так же, как ее горемыка муж, буду лежать в постели и просить рюмку коньяку, а по телевизору пойдет сериал, ее любимый, а у нее каждый второй — любимый, что будет тогда? Из-за каких-то дурех в телящике оставить без участия родного человека — что-то тут в женщине есть леденящее, бесчувственное. Мне теперь хотелось именно это подмечать в Полине...

Слева на большой скорости мена и весь поток автомобилей обогнал по встречке желтый раздрызганный «жигуленок» с затемненными стеклами. Пробки, цепи машин, движущихся черепашьим шагом, и для нашего Гурьянска стали обыденными. То ли я, то ли мой стальной конь не выдержали и помчались вслед за «жигуленком», чтобы обойти затор. Я ехал близко к «жигуленку», прикидывал, куда можно будет пристроиться, если на встречке появится лобовая машина. Кто сидит в «жигуленке» за рулем, не было видно за темными стеклами, но, видать, кто-то отчаянный. Сейчас на таких развалюхах ездят бомбилы, шабашат таксистами какие-нибудь молдаване, узбеки... Вскоре я обошел и попутный поток, и обогнал «жигуленок» — косо глянул на остающуюся по борту машину. И вдруг увидел за рулем сына.

— Э! Э-э! Толик! Стой! — замахал я рукой, слегка прижимая «жигуленок» к обочине. — Стой! Стой, тебе говорят!

Я выскочил из машины, подбежал к «жигуленку», рванул дверь:

— Откуда у тебя эта рухлядь? У тебя же нет прав?! Куда ты гонишь?!

Толик смотрел на меня непонимающим взглядом, словно не узнавал меня. Сейчас он мне показался каким-то неадекватным, «самим в себе».

— Чья это машина? — допытывался я.

— Так... — наконец увертливо заговорил сын. — Взял покататься... Так, это приятеля... Макса. Ничего, пап. Гаишников нет. А мне вожде-нию учиться надо...

— Где твой Макс? Куда доставить машину?

— Да я сам доеду. Чего ты? Тут рядом... Не бойся ты за меня... — Он почему-то рассмеялся.

— Вылазь! Доставлю эту рухлядь твоему Максу. А ты больше не смей!

Толик уступил мне водительское место, перебрался на пассажирское, пререкаться со мной не стал, почувствовал мою взбешенность. Всю дорогу, на которую ушло четверть часа, я ругал сына, песочил:

— Ты получи права! Отучись, как положено, в автошколе... Я тебя туда уже дважды отводил, а ты... Неделю посидишь, и все!

— Права и так делают, — вяло отвечал Толик. — Покупают...

— На какие шиши? Я тебя отмазал от армии. Я тебя запихнул в институт. Так хоть теперь-то ты...

Мы приехали на стоянку, которую указал Толик.

— Звони своему Максусу! При мне!

Толик нехотя достал мобильный телефон, и как только сказал: «Але! Макс!» — я вырвал у него трубку:

— Макс! С тобой говорит отец Толика, Валентин Андреевич Бурков! Забери свою машину! Она будет на стоянке у института. Больше никогда не давай Толику! У него нет прав!

В ответ прозвучало что-то вроде удивленной хмыкающей усмешки, потом безразличное, ошетилившееся:

— Это не моя машина, дядя!

Затем послышался чей-то смех. Видать, поблизости от Макса был еще кто-то, и этот кто-то говорил с южным акцентом.

— Ладно, ладно, — говорил этот кто-то, — пускай пешком ходит...

— Ну, если это не твоя машина, ключи будут у меня! Кто вспомнит, чья это машина, пусть звонит мне! — сказал я и оборвал разговор с Максом.

— Да чего ты, пап? — вмешался Толик. — Все нормально.

— Я куплю тебе тачку, хорошую! Только отучись в автошколе, получи права! — выкрикнул я сыну в лицо. — Честно получи!

Толик стоял предо мной понурый и, казалось, обиженный, но в глазах у него было что-то чужое, он как будто на время выключался из жизни, а когда включался обратно, напарывался на какой-то дискомфорт и опасность.

— До дома дойдешь пешком. Тут недалече, — сказал я примирительно.

— А как ты до своей машины доберешься?

— Доберусь как-нибудь...

— Пап, верни ключи. Мне надо. Позарез. Я тебя подвезу и отдам машину. Правда... Никто тут меня не остановит, — стал было канючить Толик.

— Нет! — отрезал я.

2

Это было несколько лет назад. Еще была жива мать, и я ехал к ней в родной поселок. Летом трасса почти пустая — две полосы, разделенных прерывистой линией. Нормальная, не скользкая, не быстро битая. Впереди поворот. Прерывистая перешла в сплошную. Я только подумал, вернее, успел подумать, что надо бы сбросить скорость, но нога по-прежнему давила на газ. Впишусь, трасса сухая, и затормозить всегда успею перед попутной машиной. Но попутной не было, а на встречу вылетел бортовой «КамАЗ». Он не вписывался в поворот, а возможно, и не хотел вписываться, не видя моей машины за зарослями деревьев. Он увидел меня уже поздно, и уйти вправо для него не было шансов. Когда завизжали тормоза «КамАЗа», когда завизжали тормоза моей машины, летевшей лоб в лоб тяжеловесу, который превратит мою машину в лепешку, вся жизнь промелькнула разом. Нет, не как на киноплёнке, а разом, одним кадром, будто она на одной большой картине, на каком-то полотне, и на нем все видать: и детство, и школьные годы, и студенческую жизнь, и работу, и быт, и семью, а последней мгновенной мыслью было сожаление: мать-то меня не дождетя, а она ведь ждет.

Удара не было. Моя машина, словно бы понимая, что ее больше не будет, заупиралась, встала на дыбы, замерла, вцепившись колodками в диски, а шинами в асфальт. Этот случай запомнился мне навсегда. Даже не угрозой, перед которой я находился, а теми возможностями мозга, когда враз открывается вся твоя жизнь, и кажется она, эта твоя жизнь, изображенная на одном полотне, какой-то нелепой, пустой, сероватой. Ради чего живешь?!

— Прости, братан! — выкрикнул мне водила «КамАЗа», косматый худой, остроносый мужик, не желторотый пацан, а по всему видать, опытный водила. — Бес попутал, спешу очень.

Я ему ничего не сказал. Я не мог говорить. Даже обматерить не смог. В горле — сушь.

Еще раз жизнь моя пролетела одним кадром перед глазами, когда я Толика отмазывал от армии. Пару лет назад в Гурьянск назначили нового военкома, и он стал шерстить призывников. Сказал сыну строго:

— Бурков, пойдешь служить! Отсрочка кончилась... В институт потом поступишь.

Тогда-то и попутал меня бес, не без помощи моей бывшей жены Анны и самого сына. Ведь Толик неглупый парень. Надо дать ему шанс поступить в институт, с первого раза не получилось: не хватило «ЕГЭшных» баллов. Но военкомат этот шанс ему не давал. Анна капала на мозги:

«Чего там творится, в этой армии? Ты служишь еще в советской армии... А теперь?» Это *теперь* не разъяснялось, оно вроде бы и так всем было понятно...

— Лев Дмитрич, чего делать? — я позвонил приятелю, психиатру.

— Бери бутылку коньяку и приезжай с сыном с утречка ко мне... Врачи из военкомовской медкомиссии рисковать не хотят. Военком-то новый, не обтерся еще у нас... Что-нибудь придумаем. Больничку организуем.

История Льва Дмитрича была оригинальна и в то же время незамысловата. Он лечил в своей психушке алкашей, хронов, тех, кто попадал в лапы «белочки» — так на жаргоне называлась «белая горячка», — и попутно психопатов, пизофреников, невралгических страдалец и страдалцев, лечил честно, насколько хватало ума и таланта, но сам при этом шибко злоупотреблял... Пил все: спирт, вино, водку, коньяк, если не было изысканных напитков, но брезговал настойкой боярышника и пиона, а закусить любил витаминками, желтенькими кисловатыми горошками — горстью кидал их в рот.

Крепкий организм доктора долго терпел над собой такие процедуры, но с возрастом стал пробуксовывать, стал Лев Дмитрич впадать в запои, и «белочка», неумолимая «белочка», которую он гнал от своих пациентов, стала сама заглядывать к нему в гости. Далеко ходить не надо было: излечивался от белой горячки психиатр здесь же, этажом ниже своего кабинета, лежал в палате с алкашами и выводил сам себя на чистую воду. В последние годы он пил реже, организм не позволял, но отчаянный нрав отменить в докторе было нельзя.

В тот незабываемый день мы пришли к нему с Толиком в кабинет «с утречка», как договорились. С крупной красноватой лысиной, приплюснутым носом и маленькими глазами, с увесистым подбородком, некачественно обритым, в белом халате с засученными рукавами, Лев Дмитрич больше напоминал банщика, чем доктора. Был он толст и непоседлив; при удовольствии имел привычку шумно потирать руки, а при неудовольствии тихо почесывал то одну, то другую тыльную часть кисти. На стуле он сидел с непостоянством, часто ерзал, словно быстро отсиживал ягодицы, или что-то там, на седальце, покалывало.

— Ну чего, захватили? — воскликнул Лев Дмитрич.

Я с опаской достал из пакета бутылку с коньяком.

— Вот и отличненько! — возликовал психиатр и потер руки. — Сейчас немножко вмажем и все обустроим. — Лев Дмитрич закрыл кабинет на ключ.

Он выпил полстакана коньяку, бросил в рот горстку желтеньких витаминчиков, вновь радостно потер руки, оглядел Толика, который сидел на кушетке, бледный, настороженный, и сказал, не мешкая:

— Не бойсь, парень! Сейчас я сделаю тебе укольчик. Сотрясение мозга подстроим — ни одна комиссия не придерется. Полежишь в больничке, книжки почитаешь. — Лев Дмитрич поерзал на стуле; взгляд маленьких веселых глаз метался с меня на Толика. — Идите сюда! — Он вскочил, подошел к окну, мы с сыном за ним. — Запоминайте! Сейчас я всажу укольчик, и вы отсюда быстренько свалите. Действие лекарства начнется минут через десять. За это время вы дойдете до автобусной остановки. Вон, видите?

— Видим, — ответил я.

Это была пустынная автобусная остановка под сквозным павильоном. С одной стороны к ней подбирался пустырь, с другой — старенькие двух-

этажки. Остановка была безлюдна, маршрутка здесь курсировала изредка, казалось, на нее мало кто надеялся.

— Когда туда доберетесь, ты, — Лев Дмитрич нацелил свой толстый указательный палец на Толика, — упадешь... Валя, не пропусти момент, чтобы он в самом деле не ударился головой... Тебя начнет тошнить, возможно, что сознание слегка потеряешь, общая слабость... А ты, Валя, тут же вызываешь «скорую». Говоришь: сын упал головой о бордюр, поскользнулся, его тошнит, сознание потерял. Срочно! Остановка: «4-й квартал»! Чтоб они не плутали. Приедут быстро, дорога сюда свободна...

Мы с Толиком переглянулись. Мы с ним даже мысленно, казалось, переговорили. Может, не затевать это медицинское жульничество, а честно отслужить? Но и под армейскую лямку, я так понял, Толику не хотелось.

— Лучше на моей машине его до больницы довезти.

— Нет, лучше пусть они вас с улицы возьмут. Так будет лучше! Машину пока свою оставь. — Лев Дмитрич потер свои руки. — Ну чего, еще пятьдесят грамм — и вперед...

— Не надо, Лев Дмитрич... Дело нешуточное.

— Ладно, потом вмажем... — Доктор взглянул на Толика. — Сколько ты вешишь?

Толик робко произнес. Лев Дмитрич что-то прикинул, сказал обыденно:

— Штаны спусти... — И вытащил из стеклянного шкафа шприц и ампулу.

Почему? Почему я не остановил ни Толика, ни доктора-прохиндея?! Тысячи раз я задавал себе этот вопрос: ведь драма вершилась на моих глазах, и не с кем-нибудь — с моим сыном! В какой-то момент мне показалось, что Толик сейчас рванет из кабинета, но этого не произошло. Укол был сделан. А дальше случилось непредвиденное: до остановки с Толиком мы не дотянули. Где-то на полпути Толик вцепился в мой локоть.

— Пап, — прошептал он. — Мне плохо. Все, не могу больше...

Он полностью обескрасился в лице, закачался, у него подкосились колени, он сильнее вцепился в мою руку, но потом отпустил руку и повалился на землю, на обочину, в весеннюю грязь.

Еще через минуту его стало тошнить, он стал сучить ногами, извиваться на земле, вернее, в грязи, как в агонии, хватать бессознательно меня за ноги.

Я вытащил телефон, позвонил Льву Дмитричу:

— Лев Дмитрич, он упал, его рвет, он умрет сейчас. Чего делать?!

— Делай, как я сказал! Вызывай «скорую»!

Собрав волю, я позвонил в «скорую» и, стараясь не орать, вызвал «неотложку». Я не помню, не знаю, сколько минут продолжалось это преступление против своего собственного сына, но в эти минуты пролетела вся моя жизнь: от корки до корки. Она прочиталась как бы мной не на первом плане, а на втором. На первом — предо мной лежал Толик, в блевотине, в корчах, в грязи, бледный, казалось, за минуту до предсмертного вздоха. А жизнь моя опять представилась пустой, глупой и преступной. Даже гадюка-мысль посетила меня: «Если сейчас Толик умрет на твоих глазах, тебя еще и посадят, за участие в смертном членовредительстве!»

Я снова позвонил в «скорую». Теперь я уже кричал. И тут, наконец, прибежал Лев Дмитрич. В халате, растрепанный, дышит, как паровоз.

— Ух ты! — воскликнул он. — Неужели доза велика? Но он же сказал, что семьдесят килограммов весит... Валя, придерживай его на боку, чтобы блевотиной не захлебнулся.

Когда появилась «скорая» с включенными маячками, картина прошедшей жизни стухла. Парня моего спасли. Даже дальнейшее вышло все, как по нотам. Туфта Льва Дмитрича прошла. Диагноз в травматологической больнице Толику поставили «сотрясение мозга», и три недели он валялся на больничной койке, может, даже празднуя *победу*. Набор в армию прошел; а впоследствии Толик поступил, не без моего участия, в институт. Но с той поры, когда сын валялся в грязи на обочине, я стал сидеть. Сперва виски, потом челка, хотя в близкой родне седых не было, стало быть, не наследственное.

3

Меня ждала Полина, я знал, что она ждет, злится и ждет, да и на телефоне уже трижды отпечатался ее номер. Я опаздывал, но какая-то неодолимая сила повернула мою машину в сторону психбольницы. Скоро я подъехал к неприметному, трехэтажному зданию за кущами старых тополей, незабвенному «Психоневрологическому диспансеру № 2». Мне нужно было сюда, именно сию минуту — сюда.

На входе остановил охранник.

— Мне повидать Льва Дмитрича, — сказал я, зная охранника в лицо.

— Пусть он закажет для вас пропуск.

— Раньше меня без пропуска пускали. Вы же меня знаете! Я здесь не первой.

— Знаю. Но теперь без пропуска не пуцую. Указание есть. После присоединения Крыма террористов боятся, провокаций. Правила ужесточили.

Чуть позже, идя по коридору к кабинету Льва Дмитрича, я повторял слово «террористы, террористы...» Откуда они берутся? Шкуры своей не жалко? Взрывали бы тогда только чинодралов-начальников... Чего над простыми людьми изуверствовать. Террористы хреновы! Прежние революционеры, народодовольцы за царем только охотились, за премьер-министром...

Лев Дмитрич встретил меня оживленно. Непоседливый, круглый, он пустился по кабинету расхаживать — словно подпрыгивал мяч — и сразу пустился в разговоры о присоединении Крыма, о Донбассе, то потирая от ликования руки, то от какого-то неудовольствия их почесывая. При этом он будто бы забыл про лохматого пациента-шизофреника в синей пижаме с черным воротом, который сидел у него в кабинете на кушетке. Пациент слушал его усердно и глядел во все глаза.

— Потом зайдешь. Тебе торопиться некуда! Давай, давай, уходи, — наконец, сказал Лев Дмитрич больному.

Пациент подозрительно и в то же время как-то усмешливо посмотрел на доктора, сказал, указывая пальцем:

— У тебя волос на губе. Убери, он тебе врать мешает, — и он захохотал.

Лев Дмитрич машинально потянулся к губам, потом тихо выругался, вскричал:

— Пошел вон!

Пациент с радостным визгом скрылся за дверью, но через несколько секунд заглянул в кабинет:

— А у тебя соринка в глазу, — обратился он ко мне.

— Сгинь! — взвыл Лев Дмитрич. Потом почесал руки, извинительно произнес: — Он всем так говорит. Контингент, Валя, сам понимаешь... Выпить хочешь? — живо предложил доктор и потер ладони.

— Хочу, но не могу. За рулем. Я, Лева, иногда нарочно за руль сажусь, чтобы соблазна не было... А если честно, выпить хочется часто, почти каждый день. Сдерживаю себя. И не похмеляюсь. Даже с сильного будуна.

— Это правильно, — поддержал Лев Дмитрич. — Прав был брат Похлебкин: алкоголиком никогда не станет тот, кто пьет после трех пополюдни и не позже девяти вечера. Выходит, любая опохмелка исключается... Ты сильный, Валя, человек, а я вот слаб... Поэтому пришлось завязать совсем.

Тут я сказал ему о цели своего появления в психушке:

— Лева, скажи как врач, как спец, можно ли вылечиться от наркоты?

Лев Дмитрич даже вздрогнул, поерзал на стуле, спросил:

— Неужели Толик?

— Есть у меня подозрение... Какой-то он не такой. Рассеянный, взгляд блуждает... Я сегодня застал его в чужой машине. Грязная компания у них... Я не думаю, что героин, но... Что такое синтетические наркотики?

— Это суррогат. Для алкашей будто бы брага, которая не устоялась... В армию, Валек, его надо было отправить, — вдруг сказал Лев Дмитрич и почесал свои руки. — При советской власти система была жесткая, но верная. Молодой человек не шарахался из стороны в сторону. Ему на выбор: студенчество или армия. И там, и там контроль. Из армии приходит поумневшим, женится, семья, ребенок и... самый опасный период прошел. А сейчас у них ветер в головах долго гуляет.

— У меня так и было, — вздохнул я. — Сперва армия, потом институт, женился на третьем курсе... Ну, а дальше ты и сам знаешь. Каюсь я, Лева, что тогда его от армии отмазал.

— Да, Валя, я ведь и сам-то перепугался до смерти. Думаю, если вскрыется, влепят по ушам...

— А мне каково было? Собственного сына... Я же после этого поседел.

Лев Дмитрич прошел по кабинету, потер ладони:

— Приводи Толика ко мне. Как бы нечаянно. Я пойму, насколько он к этому делу пристрастился... Есть такая книжка, называется «Как остановить падающего в рай». Я тебе дам почитать. Лишь бы Толик на иглу не сел. Сейчас главное — вырвать его из той среды, силой обрубить все связи... Валек, давай споем нашу любимую! — вдруг призвал Лев Дмитрич.

— Не поется, Лева. Извини...

— Но песня же, сам знаешь, всю гадость с души снимает... Ладно, я тебе один спою. Мне тут один алкаш песню напел. Старинную, казачью.

Доктор встал у стола, выпрямился, приободрился, расправил плечи, повел песню:

За высокий, за курган по степи стелил туман,

А на небе алая заря, заря наступила!

Как по этой, по степи, слышно, движутся полки,

Попереди, ой да, казаков едут командиры.

Страсть у Льва Дмитрича к пению была с детства, он даже в консерваторию поступал — по молодости. А потом ходил в местный Дом культуры в вокальный кружок, чтоб быть поближе к сцене, пусть хотя бы не профессиональной, но самодеятельной. Там мы с ним и познакомились: наша строительная бригада ремонтировала Дом культуры. Однажды мы с ним даже спели вместе «Любо, братцы, любо...»

Но теперь он солировал и пел с душой, выкладываясь:

Зря жанили рано вы мене, парня молодого!
Зря жанили потому, что покинул я жену,
И поехал с вами на войну, с вами, с казаками...

Когда я уходил по коридору от доктора, в голове вертелась мелодия казачьей песни, но вместо текста были иные слова: «Вырвать из той среды» — вырвать сына. Однажды мне уже приходилось вырывать из среды дочку Риту. Пришлось переводить ее в другую школу. У нее истерики начинались в общении с одной девочкой из класса. В общении они совсем «крышу» теряли. Они могли без конца дурачиться, дикариться, доводили до белого каления учителку... А потом они возненавидели друг друга и стали драться, царапаться, как две кошки, даже тыкали друг друга карандашами... Тогда я перевел Риту в другую школу, благо возле дома была еще одна. Вырвал Риту «из среды». И больше она ни с кем не дралась и не делалась полоумной в общении... Среда важна!

Я вышел из проходной, направился к машине и услышал песню: Лев Дмитрич пел в своем кабинете, голос тонко лился в открытую форточку. Пел он самоупоенно, видать, не стесняясь, что поет на рабочем месте. А где еще искренно проявить себя, как не в желтом доме!

4

Настроение изменилось. Мне казалось, что такое опоздание на обед к Полине лишь укрепит меня в предстоящем разрыве с ней. Но теперь мне стало Полину жалко, к тому же хотелось есть, отведать ее вкусный обед, да и почему-то захотелось ее ласки, ее тела, ее страсти. Мужская натура не менее инстинктивна и привередлива, чем женская. Возможно, мне захотелось и не Полину, а просто женщину, ведь женщин мне хотелось всегда. Всегда, всегда, всегда... Ежедневно, ежечасно, ежеминутно... С юности, со школьной, со студенческой скамьи я гонялся за ними. Нет, не за всеми: дурнушки, грязнули, хамки — прочь, но было много обаяшек, лапочек, лялек... И я щедро оглаживал их взглядом, с вожделием прикидывал, как бы вел себя с той или другой, доведись оказаться в одной постели. Даже когда была любовь к жене Анне, когда была семья, скрепленная двумя детьми, Толиком и Ритой, женщины, чужие женщины, оставались желанны и необходимы.

Почему была такая охочьсть до женщин? Я не анализировал; наверное, у всех мужчин — то же самое, а может, было плотское и вместе с тем романтическое заблуждение, что новая возлюбленная будет какой-то особенной, неповторимой, что будет слаще, горячее, жгучее остальных. Да и количество покоренных женщин поднимает авторитет в собственных глазах. Но ничего сверх не происходило: менялись партнерши, приходило удовлетворение, короткое самолюбование достигнутым; а жизнь в основном меняла фасады, при этом сама суть, смысл, наполняемость жизни оставались неизменными. Навечно единственной жен-

щины не появлялось, покоя и глубокого смысла в жизни — тоже, но и примирения и равнодушия ко всему, что было вокруг, тоже пока не происходило. К счастью. А в последнее время меня мучила мысль: первая любовь была такой сильной, несокрушимой, она все еще в моем сердце, и теперь, в предстоящем отпуске, у меня будет возможность проверить это вживую...

По дороге к Полине я договорился сам с собой: бросать Полину сейчас не стоит. Попозже. Ведь под рукой все равно нет других вариантов. Вариант может скоро и появиться. Ну вот, когда появится зримо, тогда и отвалим в сторону. А пока... А пока на свидание я опаздывал почти на два часа от условленного времени.

Полина открыла мне дверь, и я догадался, что она что-то поняла или узнала больше, чем мне бы хотелось.

— Секса сегодня не будет. Обед тоже отменяется. Кто не успел, тот опоздал, — холодно, без приветствия, сказала она.

В эту минуту я почему-то напомнил себе: как хорошо, что отказался взять ключ от ее квартиры. Полина всячески показывала, что доверяет мне и несколько раз предлагала взять ее ключ. Но я стоял на своем: «Что мне делать у тебя без тебя?» Вероятно, это было даже больше, чем простое доверие, — это было женское желание создать семью, приручить меня сперва как любовника, а потом как потенциального мужа, чтобы впоследствии делить со мной не только постель, но и что-то общее, семейное и неразрывное.

В то же время я чувствовал, что Полина иногда опасается меня и перепроверяет. Если признаться себе самому без увиливаний: я не любил ее; с ней было относительно удобно, комфортно; она была в меру красива, умна, заботлива, но до гробовой доски шагать с ней меня не манило; не такой уж я безнадежный старик в сорок пять. Полина чувствовала мои слабости и, наверное, догадывалась, что я попутчик *не навсегда*, но других-то поискать еще надо...

— Объяснений не будет никаких! — выкрикнула Полина, эта фраза прозвучала как «Пошел прочь!»

— Почему? — как можно проще и наивнее произнес я.

— Какие могут быть объяснения? Не ты ли меня учил: прежде чем задать вопрос человеку, этот самый вопрос задай себе сама! И ответь на него. Потом и другому человеку задавать вопрос не придется.

— Да... В любом вопросе есть скрытая агрессия, — я пробовал затянуть Полину в разговор. — Человек, которого спрашивают, должен как бы отчитываться, а человеку это всегда неприятно. То, что человек хочет сказать сам, пусть сам и скажет...

Полина нервничала, хваталась то за одно, то за другое, наконец, села на диван и выпалила:

— Ты едешь в отпуск. Едешь без меня. Какие могут быть объяснения! И не важно, откуда я это узнала.

— Это не совсем отпуск, я еду в Одессу по делам. Там у меня армейский друг... У меня есть к нему коммерческое предложение.

Прошлым летом мы с Полиной провели отпуск в Испании — корень обиды был найден. От кого она узнала о моем теперешнем отпуске, я сразу догадался: Полина сдружилась с моей бухгалтершей Аллочкой, та и проболталась, а может быть, и доложила *по-дружески*.

— В ванне — твой халат и шлепанцы, в гардеробе — рубашки, белье. Забери!

— Ты уверена, что так сейчас надо поступить? — спросил я.

— Нечего мне пудрить мозги, — тихо произнесла Полина. На глаза у нее выступили слезы.

Я не терпел женских слез. Они меня обескураживали и раздражали, вызывали какую-то болезненную жалость, но сейчас мне показалось, что слезы Полины особенные, осознанные, и не для того, чтобы разжалобить меня. И все же в какой-то момент во мне шевельнулась жалость к Полине — как-никак, больше года делили ложе, и между нами уже была история... и взаимовыручка, мне даже захотелось просить прощения у Полины, умаслить ее, уладить конфликт, а потом добиться ее нежности. Даже подумалось, что в близости она всегда была очень мила. Но все похотливые мотивы оборвала Полина резким оскорблением:

— Сволочь! Я больше года на тебя потратила! — Глаза ее заблестели, высохли. Я впервые увидел ее такой: злой, свирепой, коварной самкой. Тут она схватила глянцевого журнала, который лежал у нее на диване, и швырнула в меня.

Мне не пришлось уворачиваться. Журнал истерически пролетел мимо меня, расправив крыльями страницы, ударился в стену.

— Я тоже хочу любимого мужчину, а не так... Подергались да разбежались, — прошипела Полина. И в этом Полинином «я тоже» была глубокая правда. — А ты, ты — сволочь... — искала она, куда ткнуть больнее. — Ты убегаешь! Сдохнешь в одиночестве!

— Я прощаю тебе эти слова. — Надо было уходить, не затягивать сцену и не собирать себе на голову оскорбления. — Вещи заберу потом. Кинь куда-нибудь в кладовку...

«Вперед!» — это я сказал уже сам себе. Приучил давать себе команды: «Вперед!», «Назад!», «Стоп!», «Забыли!» В них, казалось мне, есть некая энергетика для того, чтобы ненужное утопить в прошлом навсегда, чтоб не всплыло. Возможно, это был психологический самообман.

Обычно, уходя от Полины, я оборачивался на ее окна на третьем этаже. Она непременно стояла у окна, махала мне рукой; это было как-то даже по-семейному, словно она провожала меня в путь-дорогу, а сама оставалась ждать. Она прижималась иногда носом к стеклу, чтобы было смешнее, и что-то рисовала на стекле пальцем. В этом было что-то и романтическое, и интимное. Светловолосая, раскованная, с нацелованными губами, однажды она показала мне обнаженную грудь, распахнув на себе халат...

Теперь, выйдя из подъезда, я раздумывал: обернуться на окна или нет? «Нет!» Меня оскорбили, выгнали, я и сам отказался от Полины, — чего вертеть носом. Это, конечно, еще отзовется болью в сердце, ничто не проходит в жизни бесследно: год с лишним близких отношений — это не пустяк. В то же время мне казалось, что Полина презрительно смотрит на меня сверху и готова швырнуть чем-нибудь, и я шел словно под прицелом снайперской винтовки... Я поскорее забрался в машину. Все! Все, что осталось за спиной — осталось за спиной...

Отъехал, набрал номер телефона бухгалтерши Аллочки; я хотел ей крикнуть: «Ты дура! Я тебя уволю!», но в последний момент сказал ей:

— Спасибо за услугу, подруга... Но ты, вероятно, забыла: в Одессу я все же еду по делам... А в санаторий в Сочи, поближе к Мацесте, лечиться, а не развлекаться. Я думал, Аллочка, ты помнишь о моем радикулите. Сама массаж делала...

Мне до жути не хотелось ехать к бывшей жене Анне. Не столько я опасался того, что она не сдержится, зарядит традиционно свои упреки, тупые укоры. Но надо спасти Толика. Его поведение, его взгляд напугали меня. Надо добраться до истины!

Я позвонил Анне. Не звонил ей около двух лет. Да и она за последние годы звонила только пару раз, по необходимым делам, связанным с нотариусом и армейскими проблемами Толика.

Голос в трубке был и удивленный, и напуганный.

— Мне нужно приехать к тебе и поговорить, — сказал я.

— О чем? О Рите? — спросила Анна.

— О ней тоже. Но главное — о Толике.

— У меня не прибрано... Может, лучше встретимся где-нибудь в другом месте.

— Нет. Мне нужно посмотреть кое-какие личные вещи Толика. Я буду через полчаса.

Не прибрано, хмыкнул я. Как всегда, не прибрано. А что, разве за полчаса нельзя прибраться в квартире, навести элементарный порядок?! Конечно, если месяцами не наводить этого порядка, то и дня будет мало... Меня всегда бесила небрежность, забывчивость Анны: раскидывать вещи куда попало, забывать выключать свет, начинать что-то шить, вязать, потом бросать начатое на половине, покупать массу ненужных вещей, которые годами валялись ненадеванными в шкафах, а потом стонать: этого нет, того нет...

В перестройку нагрянула мода на сословия, многие ударились искать свои родовые корни. Особенно женщины. Видимо, раздирало желание прибиться к какой-то элите. Анна выкопала в нафталиновых сундуках матери — моей тещи — какие-то документы, разрисовала свою родословную и безмерно гордилась тем, что дальние предки у нее из дворян, из знати. После того, как она обрела дворянство, она даже ходить стала как-то иначе, с гордо поднятой головой, и стала еще ленивее, что касалось домашних дел. Горы грязной посуды в раковине, белье не стирано, а сидеть средь бардака с чашкой кофе из старинного фаянса рассуждать о дворянских обычаях семьи... Стоп! Стоп! Не надо заводиться — все это уже позади. Уже нахлебался досыта.

Впрочем, я в ту пору и сам заинтересовался своими корнями. О семье матери я многое знал, там ничего не выплыло неожиданного: крестьяне из поколения в поколение. А вот на отцовом древе обнаружили неожиданные родовые ветви. Оказалось, прадед был из-под Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска, войсковой старшина, это целый казачий подполковник, судьба которого оборвалась при невыясненных обстоятельствах где-то в 1920-е лихие годы. А дед был морской офицер (я-то думал, он служил матросом, а оказалось, капитан-лейтенантом), который погиб в Великую Отечественную, защищая Одессу; могила его не найдена, вернее, могилой ему стало Черное море... А бабушка пела в каком-то знаменитом хоре. Не случайно мне нравились казачьи песни. В генах что-то, видимо, сбереглось. Поэтому и Льва Дмитрича я любил послушать с его казачьими балладами, да и сам ему подпевал, бывало, под рюмку.

Анна открыла дверь сразу, как будто стояла в прихожей и ждала моего звонка. Я нетвердо перешагнул порог. Вот и встретились. Еще поднимаясь в лифте, я почувствовал, как громко стучит сердце, стук даже

отдает в висках, и все это не только потому, что впереди нелегкий разговор про Толика, но и встреча с Анной, которая явится из семейного прошлого.

Посреди большой комнаты на ковре покоился пылесос — прибраться Анна, конечно, не успела, — зато губы и ресницы подкрашены... И вообще она недурно выглядит. Во мне даже что-то шевельнулось — наподобие полугасшей любви, ведь эту по-своему очень симпатичную женщину я знал немало лет... Она совсем ничего не потеряла во внешности. Почему не выйдет замуж? Не за кого? Достойных, мол, нет, а плохого не надо.

Оказавшись там, где прожил двенадцать лет, я поразился: здесь почти ничего не изменилось, словно я отчалил отсюда вчера. Тот же диван-кровать с обшарпанной спинкой, шкаф со старинными книгами, до которых ни у кого не доходили руки, антикварное высокое кресло с изодранными подлокотниками и круглый столик с инкрустациями на резной толстой ноге; в углу, как и прежде, черное австрийское пианино.

Это пианино Анна подарила пятилетней Рите в день рождения, хотя я в ту пору на всем экономил и копил деньги ни машину. Работал где только выпадал случай, на любой халтуре: маляром, плотником, грузчиком. «Машина подождет. Зато Риточка станет учиться музыке!» — радовалась Анна; она даже не заметила, что я в тот момент побагровел от злости. Я тогда сдержался, стерпел ради дочки, не упрекнул Анну, но этот дорогой гроб с музыкой» возненавидел. К тому же у Риты не было ни желания учиться, ни особого слуха, и я всячески помогал ей избегать занятий музыкой.

«Надо быть очень ограниченным человеком, чтобы не понимать, как важна для ребенка музыка!» — негодовала иногда Анна, но я был неумолим: «К черту эту музыку! Пусть Рита побольше гуляет, а не чахнет над клавишами. Как пианистка она все равно никуда не пробьется!» — «У тебя на уме только деньги... Ты не понимаешь, что музыка — это полет души...» Так завязывалась очередная ссора, которая доходила до криков и оскорблений, после чего мы неделю могли не разговаривать друг с другом, и никто первым не хотел пробить стену отчуждения... А Рита толком играть на пианино так и не выучилась, кое-как дотянула музыкальную школу. Но потом стала актрисой. Правда, это уже иная история.

— Она сообщила тебе, что выходит замуж? — спросила Анна.

— Кто?

— Рита, разумеется! Вот почитай. По скайпу я с ней связаться не могла, — Анна протянула мне конверт. Сама села в кресло.

Я взялся читать.

— Да садись ты, Валя, куда-нибудь. Ты ж не чужой... — сказала Анна.

Я устроился на край дивана. Письмо от Риты было следующим:

«Мамочка, милая моя!

Решено. Я выхожу замуж! Свадьба — потом. Так что не переживай. А пока я выхожу замуж и уезжаю в Польшу. Он режиссер, он ставит там пьесу, в Познани... Он гениальный режиссер! Ты, конечно, не слышала, но это гений! Стас Резонтов. Я сразу слышу твой вопрос: старше ли он меня? Ну, конечно, старше. Ему сорок семь. Но это не имеет никакого значения. Он очень искренний, очень талантливый, очень-очень... А свадьба, родственники, гости, фата и прочий реквизит — это потом. Это не главное!..»

В этом месте письма я слотнул слюну, перекинул взгляд в угол, где горкой валялась одежда. Подсчитал. Рите недавно исполнилось 23, в прошлом году она закончила ГИТИС, а этому гению — 47, итого разница в 24 годика... Стал читать дальше. Письмо было коротким. До конца я добрался быстро. Ни просьб о соизволении матери на брак, ни упоминаний обо мне в письме не нашлось.

— Скоро я буду в Москве. Вот и поглядим на этого женишка.

— Разве это что-то изменит? — чуть скривила губы Анна.

— Ничего не изменит. Рита, похоже, больна любовью... Но с режиссером надо поговорить. Думаю, когда мужчине за сорок, у него уже есть кое-что в голове.

— Все мужчины думают только одним местом. И место это — ниже пупка, — с язвительной ухмылкой сказала Анна.

— Для дворянки это неприлично, — заметил я.

— Зато честно, — быстро ответила Анна. — Ты подсчитывал, сколько раз ты мне изменял, пока...

После стольких лет изматывающей ревностью и глупостью супружеской жизни слушать теперешние претензии Анны было невмочь. Она так и не успокоилась, она все как будто считает себя моей женой и предъявляет претензии.

— Достаточно! — резко оборвал ее я. — Есть более важное, чем эти глупые упреки! Я ими уже накушался... Где личные вещи Толика? Надо все пересмотреть.

Мы пришли в маленькую комнату — обитель сына. Здесь тоже мало что изменилось. Разве что появились плакатные портреты каких-то глянцево-девиц и навороченных машин. Я полез в ящик его письменного стола.

— Мне кажется, ты не там ищешь, — подсказала Анна, хотя, что я искал, она не знала. Да я и сам еще не знал; мне очень не хотелось это что-то найти. — У него под шкафом есть секретная коробочка. Я нечаянно туда заглянула. Катушка ниток закатилась... Полезла в эту коробочку, а там...

Прежде чем встать на колени пред шкафом, я спросил:

— И что там интересного?

— А ты, Валя, не знаешь? — брыкнулась Анна. — Ну, порно там. Журнальчики.

— Он взрослый мужчина. В этом нет ничего удивительного... Да, это подходящее место, — тихо сказал я, обшаривая рукой пространство под шкафом.

В схроне Толика лежали несколько журналов с фотографиями секс-моделей, какие-то чистые бланки с печатями, ксерокопии документов на машину, визитные карточки, рекламки и, наконец, — вот они! Я взял в руки небольшой пластиковый пакет, в котором набралась бы горсть таблеток белого цвета.

— Что это? — вспыхнула Анна.

— Вот и я хочу узнать, что это?

— Может, в полицию сообщить?

Анна всегда была паникершей, и в неожиданных ситуациях тут же предлагала разные, порой нелепые выходы.

— Попробуем пока без полиции, — ответил я, хотя уже наметил, к кому из полицейских приятелей смогу обратиться.

— Неужели это наркотики? — шепотом спросила Анна, глаза ее тут же наполнились слезами, и мне даже показалось, что она потянулась ко

мне, — так часто бывало, когда на семью обрушивалась какая-то беда, пусть даже и невеликая.

— Плакать не надо. Пока ничего страшного не произошло, — успокоил я Анну и погладил ее по плечу.

— Валя, что же будет-то? За такие таблетки Толику светит тюрьма! — она стояла ошеломленная.

— Расскажи мне подробно. Все, что с ним было в последние месяцы? Кто ему звонил, кто приходил? Когда он приходил? Что у него был за взгляд? Просил ли есть ночью?

— Откуда я помню? Приходил он поздно. Я уже спала...

Мне вспомнился один разговор, я был не участником, а свидетелем этого диалога: директор училища, где моя контора делала ремонт, объяснял что-то матери одного из подопечных, вероятно, балбеса-хулигана, которых в ПТУ всегда хватало. Мать сетовала:

«Ну, хоть вы мне подскажите, товарищ директор, что с сыном делать-то? Мужа у меня нету, прикрикнуть на него, приструнить по-мужски некому. Придет сын в ночь-полночь, что я сделаю? Правду не скажет... А до тюрьмы-то — шаг шагнуть».

«Ждать надо... — вздохнул директор. — Мать должна ждать свое чадо! Пусть идет он домой хоть в два ночи, а окно в доме должно светиться. Там сидит его мать, она ждет его! И всякий раз он будет знать, что мать не спит, встретит его... Когда-то и устыдится... Лишний раз не свяжется с кем-то... Горящее материно окно и слышно много оболтусов! Девчонок — в особенности. Пусть окно ваше горит... Пересилить надо этот период».

Я вспомнил о горящем материном окне, хотел было сказать об этом Анне, но прикусил язык. Она, скорее всего, озлится, начнет упрекать: вот бы и воспитывал сына сам, если такой умный, а не шатался по бабам и не ломал семью... Но, видит Бог, я не хотел разбивать семью: были какие-то бабы, но ради семьи, ради двух детей я не ушел бы от Анны к самой что ни на есть красавице-раскрасавице. Да и ушел-то я от нее «в одиночество», а не к женщине... Все старался заработать больше, бегал по шабашкам, чтоб жена, дети были одеты в дубленки, чтоб летом к морю могли съездить, а скандалы ревности не прекращались, денег все время не хватало, и, в конце концов, хлопок дверью, съемная комната, и все сначала, с нуля. Так распорядилась судьба. И неизвестно, как распорядится дальше.

— Ты пока приглядишься к нему, — сказал я, забирая таблетки с собой. — Что это за гадость — я узнаю. Если Толик будет спрашивать, где они, не ври. Скажи, что я приходил и забрал.

— Не было печали... — слезно вздохнула Анна.

Мне захотелось поскорее уйти. Ни сострадания, ни осуждения Анны мне испытывать не хотелось. Нечего беречь душу, никакой прежней мороки! Пора!

— Ты никому ни слова... Никому! — кивнул я на прощание Анне.

Деятельный человек с годами всегда обрастает связями, знакомствами, блатом. Коллеги, однокашники, армейские друзья, однокурсники — они не сидят сложа руки, они становятся начальниками, влиятельными чиновниками, получают звания и звезды на погоны. Виталий Шаров был ментом. Ментом азартным, из тех, что не любят проигрывать. Этот Шаров, будучи когда-то капитаном, попортил мне немало крови.

В стране в девяностые — бум предпринимательства, вернее, легкой поживы и откровенного воровства; конторы появлялись и исчезали. ТОО — товарищества с ограниченной ответственностью. Как мило, с ограниченной ответственностью! Почему не с полной? Я, разумеется, открыл свое ТОО, потом еще одно, а потом ЗАО и т.п. Но забывал конторы закрывать, так и получилось, что одно брошенное ТОО вместе со всеми документами повисло на бухгалтерше Ксюше-пулеметчице. Она не говорила, а частила словами, словно пулемет, вот и подошло ей прозвище «пулеметчица». С Ксюшей у меня был коротенький роман, даже не роман, а так — «перепихушки». Почти все директора-«тоошники» со своими бухгалтерами спали, так было проще обговоривать аферы.

Но с Ксюшей произошел у нас разрыв, безболезненный, мирный; что-то не срослось, а вот документы и печати ТОО с романтическим названием «Северный монолит» так и остались у нее. Они должны были кануть в Лету, такое было делом обычным, но они не канули, а всплыли у мента Виталия Шарова.

Меня потащили на допрос, тут я увидел его и удивился капитану Шарову. Он сидел в убогом ментовском кабинете, но каким щеголем! В костюмчике с иголки, курил дорогие сигареты, на руке — золотой браслет, на пальце — перстень из белого золота. Шаров острым взглядом мента и психолога, наверное, определил, что я ни в чем не виновен, хотя сначала напустил такого туману, что меня на расстрел могли увести без суда и следствия...

— Вот документы, гражданин Бурков. Пять вагонов с цементом вы получили от Гурьянского цементного завода и не заплатили ни копейки, хотя гарантировали...

— Ничего я не получал! Ничего не гарантировал! — вскричал я. — Не было у меня никакого контракта. Клянусь, не было!

Тут Шаров панибратски сказал:

— Да верю, верю я тебе, Валентин. Но весь хрен в том, что и печати, и устав твоего ТОО «Северный монолит» неподдельные. Шерше ля фам... Бухгалтерша твоя где?

— Не знаю. Она теперь у меня не работает.

— А документы и печати у нее остались?

— У нее. У нее! Найду ее, суку, Ксюшку-пулеметчицу! — не стерпел я.

— Пулеметчицу? Это любопытно. Надо найти, гражданин Бурков. Пять вагонов с цементом — это, конечно, не батон колбасы, украденный в магазине. За батон колбасы ты бы пару лет схлопотал. За двести тонн украденного цемента тебя явно не посадят, откупишься, выкрутишься. Но пятно грязное будет...

Тут я рассмеялся и все перевел в шутку:

— Прости, начальник, но не виноватая я... А Ксюшку-пулеметчицу тебе доставлю. С ней обо всем и перетрете.

— Я думаю, что она тоже не виновна. Какой-нибудь ее хахаль подслушался. На чистых бланках расписывался, Валентин? На ордерах приходных-расходных, в книжке чековой? — тут он сменил тему вопроса. — Ну ладно, время позднее, конец дня, пятница. Пошли в ресторан. Перекусим. Там все и обсудим...

Я сразу понял, что платить за ресторан придется мне. Но этому и обрадовался: иметь в приятелях такого капитана, явного проныру, немножко хама и циника, который цепок, но не корчит из себя гениального сыскаря, — факт очень выгодный. Да и если он идет со мной в ресторан, зна-

чит, мне доверяет, он не глуп, с шантрапой, урками пить не будет, и обо мне, видать, кое-что уже вызнал.

В ресторане мы с Шаровым крепко нагрузились. Шаров напрямую сказал мне:

— Пять тысяч долларов — я все улажу... Найду этого гаденыша, кто твою Ксюшку-пулеметчицу отпулеметил.

— Слово?

— Слово офицера! — пьяно ухмыльнулся Шаров.

Потом, еще подвыпив, я приобнял Шарова и спросил напрямую, глядя в глаза:

— Скажи мне, Виталий, — в этом месте я споткнулся: я хотел спросить его с некоторой осторожной язвительностью: «Сколько?..» — но в последний миг изменил свой вопрос и снял язвительность: — Что тебе нужно для счастья?

Шаров задумался, как-то собрался, даже будто бы протрезвел и ответил серьезно и уж точно честно:

— Самое главное для меня — чтобы мать не болела. Все остальное чепуха... Мать у меня прихватило сильно. Не знаю, выкарабкается ли? Лекарство импортное нужно.

Эта искренность Шарова запала мне в сердце.

Мать у Виталия Шарова не выкарабкалась. Шаров вскоре после смерти матери женился и, странное дело, перестал щеголять в красивых костюмах, снял золотые украшения, ходил в основном в милицейской форме, хотя по-прежнему был аккуратен, любил стоящие вина, дорогие сигареты и кофе «американо».

Теперь Виталий был уже целым подполковником, сидел в просторном меблированном кабинете под портретом президента, в новой полицейской форме, да и должность в иерархии полиции занимал весомую для провинциального Гурьянска — один из замов районного начальника.

Я застал Шарова взбудораженным: он ходил по кабинету туда-сюда и отчитывал сотрудника за какую-то утечку информации. Еще заглянув в кабинет, я спросил: «Может, мне подождать?» Но Шаров выкрикнул:

— Заходи, заходи! Это и тебя касается!

Перед Шаровым сидел молодой человек, в гражданском сидел костюме, вертел в руках сотовый телефон, — видать, из оперативных сотрудников; речь шла о какой-то операции, которая чуть было не сорвалась или результаты которой еще были до конца не ясны. «А при чем тут я?» — подумалось мне.

Шаров вскоре ответил на мой неоглашенный вопрос:

— Вот вы, строители, несли взятки чемоданами Галковскому, ныли, ждали, чтоб мы его поскорее на нары кинули. А когда мы попросили вас помочь нам — все задницу в горстку, и никто против Галковского. А почему?

— А потому что Галковский кормит губернию и Москву! — возразил я. — Ты его за задницу, а завтра его задницу московские воротили в кресло вице-губернатора посадят.

— Думаю, что нет. Отрекутся, — тихо произнес молодой опер. — Сейчас время сливать губернаторских обжор...

— Да, над нашей губернией тоже собираются тучи, — сказал Шаров. — Хотя у каждого чиновника грехов — выше крыши. Но у Галковского их более чем. Он, мерзавец, своих женщин в конторе заставлял ходить на работу исключительно на каблуках, исключительно в юбках, не-

кий дресс-код. Значит, и домогался к кому-то. Значит, кто-то на него точит зуб и готов свидетельствовать.

— Думаю, не без того, — подтвердил опер.

— Найди парочку жертв. На всякий случай и эту подпорку используем. Чем больше свидетелей, тем лучше. Можешь идти.

— Есть, — отозвался опер. Вышел из кабинета.

— Ты давал взятки Галковскому? — спросил меня Шаров. Он смотрел мне прямо в глаза.

— Разумеется, — ответил я. — Как все. Без его подписи к коммуникациям в городе не подпустят.

— Можешь подтвердить это сейчас? Хотя бы устно? При Галковском? Я растерялся. Дело пахло жареным. Шаров — мент, его работа — играть с огнем. А мне в кошки-мышки играть не резон. Но выходило сейчас так, что я зависим от Шарова, я же пришел к нему в роли просителя, на карте — судьба сына. Я почувствовал, как озноб пробежал по спине, и внутри меня что-то загудело — будто бы страх, который испытывал в детстве, когда приближалась драка.

Все-таки связываться с ментами — дело скользкое. Лучше бы не связываться никогда. Настоящий мент, а тот же Шаров был ментом настоящим, должен быть умен и коварен. Если ты у него чего-нибудь просишь, знай, завтра он попросит у тебя. И еще неизвестно, что дороже... Лучше жить по закону. Но я по закону не бил. Вертелся, взятки давал, обманывал налоговую, финтил кое-что с банком, успокаивал себя: все так делают, без этого в бизнесе не выжить... Врал, конечно, сам себе. Но чистеньким перед Шаровым казаться не хотел и не мог.

— Виталий, я тебе верю. Я готов сказать в присутствии Галковского, что давал ему взятки. К тому же, на вашем языке говоря, у меня есть кой-какая вещественная база.

Шаров протянул мне руку, ожесточенно потряхнул ее, сказал:

— Спасибо! Пойдем! Галковский у нас в подвале сидит.

— Не может быть! Сам Галковский в подвале?

— Сегодня на даче взятки прихватили. При обыске еще нашли двадцать миллионов наличными.

...Это был зажравшийся воротила. Чиновник, который давал разрешения на любую стройку в городе и районе. Взятки и откаты у него вошли в систему, он делился с теми, кто стоял над ним, и, видно, совсем потерял чувство опасности. Вот и попался. Или кто-то захотел его убрать, потому что слишком много знает. Дело темное и грязное. Там, где большие деньги, — вечные сумерки...

Мы вошли с Шаровым в одиночную камеру. Там было чисто, светло. На кровати сидел человек в спортивном костюме, руки у него были сцеплены в замок. Это и был Галковский. Я его даже не узнал. Он был без очков, без галстука, без белой сорочки, он слинял, потерялся. Словно бы орел стал воробьем. Шаров строго и четко заявил:

— Господин Галковский, это не для протокола, а для информации... Валентин Андреевич, — обратился потом ко мне Шаров, — вам известен этот человек?

— Да, я его знаю, — твердо ответил я.

— Вы давали господину Галковскому взятки?

— Да. Я отправлял деньги на счета, указанные им.

Галковский сперва как будто не понял, о чем речь, потом побледнел, прошептал:

— Я требую адвоката!

— В данный момент обойдемся без адвоката.

Галковский вскочил с кровати, выкрикнул:

— Зачем вам это нужно, Шаров?!

— Хотя бы время от времени таких, как ты, надо сажать в тюрьму.

А лучше бы расстреливать, — не церемонясь, ответил Шаров.

Галковский перевел взгляд на меня, голос его был по-щенячьи обиженным и укорительным:

— Валентин Андреевич, — впервые он меня назвал по имени-отчеству, — как же вы так? Я же вам никогда не отказывал, а вы... Мент выслужиться хочет, но вам-то...

В первый момент после этих разоблачительных слов я растерялся, но совсем ненадолго. Будто в ответ на его укорительные слова разом промелькнули передо мною десятки унижительных для меня картинок, когда я просителем отирался в приемной Галковского, когда ловил его в коридорах и о чем-то упрашивал, когда подносил подарки ко Дню защитника Отечества.

— Мне тебя не жалко! — брезгливо сказал я.

Встреча с бывшим чиновником кончилась. Я был уверен, что Шаров упрячет его за решетку. Мне ничего не грозит. Новый назначенец вряд ли будет мстить за проворовавшегося бывшего... Впрочем, никто не знает, как ляжет карта. Ведь и этот жулик вряд ли думал, что попадет на нары. Выйдя из камеры Галковского, я символически сплюнул, сказал:

— Все знали, что он вор, а столько лет сидел в кресле, позорил власть, портил дело, гадил обществу.

Шаров внимательно и хитровато посмотрел на меня, спросил:

— Но ведь это многих устраивало? Кто его хотел вывести на чистую воду? Он доил деньги из ЖКХ, из строителей, отдавал своим людям подряды. Кормил чинуш из области, имел московские связи...

— Хватит о нем. Я к тебе по другому делу!

Мы вернулись с Шаровым в его кабинет. Я молча выложил на стол пакет с таблетками. Шаров посмотрел на них без особого интереса, как будто видел такие таблетки каждый день.

— Мой сын влип в дурную компанию. Боюсь, что его пасут какие-то гниды.

— Наркотики — статья тяжелая. Твоего парня надо спасать.

Я рассказал Шарову о загадочном поведении сына, о его знакомых, о «жигуленке», на котором ехал Толик.

Шаров курил сигарету. Курил он красиво. Я смотрел на него и даже немного любовался. Теперь это был не капитанишко в ободранном кабинете, который после работы шел в кабак на халяву. Теперь передо мной сидел прагматичный, расчетливый полицейский старшего офицерского чина. Правда, левыми деньгами и подарками Шаров не брезговал, но цели разбогатеть он не ставил, сомнительные подношения сразу отвергал; от моих подарков он не отказывался, надеялся, что не предаст его. Но вообще-то он как-то холодно относился к деньгам. Если они ему были нужны, он их доставал, а деньги ради денег — это было для него чем-то вроде паскудства. Он и сотрудников тут же увольнял, если замечал за ними шкурничество. Сейчас Шаров молчал. Я кончил свой рассказ и ждал.

— Много лет назад, я тогда лейтехой был, дураком, первые дела только вел... Словом, паренька я одного посадил. Васей звали. Никак простить себе не могу. Его друзья подставили... Отнеси, мол, посылочку — зарабо-

таешь. Потом еще, потом еще... А когда пацан расцухал, что стал наркомурьером, возмутился. А те ему: если вякнешь — сядешь. Сдали в конце концов. Я мог ему помочь, но... То ли ума не хватило, то ли тщеславие сопливое — раскрыл, мол, целую цепь. Словом, парнишке дали три года. На зоне какие-то скоты его снова подставили, его изнасиловали... Он повесился.

— В чем мораль? — спросил я.

— Жить тяжело. Грехов много. Надо бы хоть в церковь ходить... Да все как-то не получается... Твоего Толика я криминалу не отдам! — вдруг резко сказал Шаров. (С сыном он был шапошно знаком, даже как-то раз играл в шахматы). — Ты сказал, что он ехал на раздолбанных «жигулях». Номер помнишь?

Я назвал номер.

— Заходи завтра, Валентин. Я пробью, чья машина. И вообще что-нибудь придумаем. Таблетки поддержи у себя. Экспертизу надо сделать...

7

День сломался, планы — насмарку. Ох, уж эти неожиданные вводные! Задумаешь одно, а делаешь другое. Так и по всей жизни получалось. Мечты в одну сторону, реальность — в другую. А ведь день начинался так бодро, с весеннего эликсира, с настроения: впереди поездка в Одессу, отпуск, даже что-то лирическое-любовное, ведь в Одессе жила Лада... А тут один внезапный удар, второй удар, третий... Третий будет сейчас.

Моим соседом по таунхаусу был приятель Галковского, чиновник из администрации Соловьев, через него мне тоже приходилось проворачивать некоторые делишки, связанные со строительными подрядами. Теперь мне придется признаться Соловьеву во встрече с Галковским в полиции и в том, что я ничего о нем скрывать не буду: пусть тонет... Но ведь Соловьев был с Галковским в одной лодке. Тьфу ты, черт! Одно тянет за собой другое. Это как сантехнику ремонтировать. Вроде бы только прокладку сменить в смесителе. Раскрутил — оказалось, надо менять и весь смеситель, и даже все трубы надо менять...

Вроде бы Достоевский написал о том, что человек рассчитает один-два варианта в жизни, а жизнь дает миллион вариантов. Ничего не угадать. Может, тогда стоит плыть по течению, если за нас все решено наперед?

Но в Бога я почему-то не верил. Вернее, Бог был для меня величиной абсолютно абстрактной, виртуальной: нечто нематериальное, сотканное из мыслей и чувств человека... Традиционно верующих я уважал. Даже завидовал им, а сам от веры был далек настолько, что ни разу и лба своего не крестил, хотя мать говорила, что в младенчестве к нам домой приходил священник и покрестил меня и мою старшую сестру разом, минуя церковь. Мать учительницей работала, стеснялась — комсомолка была, активистка, да и отец был партийный. Но покрестить детей не считала лишним.

Я подъехал к своей калитке, оставил машину, обогнул часть нашего двухэтажного дома, где занимал одну половину, другую занимал Соловьев с женой. Увидел его машину в небольшом дворике, но сразу к нему не пошел. Несколько таунхаусов строила моя фирма, в том числе и этот дом, который был под моим особым контролем. Я знал, что буду жить здесь, знал, кто будет моим соседом, и то ли бес попутал, то ли

какой-то инстинкт любопытства, а может, самосохранения взыграл, в кладовке первого этажа я не заложил вентиляционный люк и при желании, отодвинув секретную заслонку, мог подслушать, о чем говорили соседи в столовой... Туда я и направился, зная твердо, что речь идет об аресте Галковского, и мне нужно понять настроение и мысли его соратника и сообщника.

Гадко это, противно — кого-то подслушивать, за кем-то шпионить, но «какать захочешь — так присядешь», говорят в народе... Мне это было нужно: знать, о чем говорят в доме Соловьева.

По голосам я сразу понял: Соловьев пьян, а его молодая жена Ирина раскалена, даже мат проскакивает в речи.

— Да без его денег они куски дерьма! Галковский их кормил, а теперь кто будет? — услышал я голос Соловьева.

— Найдутся такие же хапуги, — зло кинула Ирина. — Деньги, деньги, деньги, все у вас деньги! Сколько раз тебе говорила: угомонись, отойди в сторону, а ты совсем голову потерял... Теперь все отберут, тебя за решетку бросят, а мне что — в комнату в общежитии идти?

— Только о своей шкуре думаешь, — устало пробормотал Соловьев.

— А что мне не думать?! Я молодая еще! Жить хочу!

Этой заслонкой я пользовался всего второй раз, хотя жили мы в этом доме уже третий год. Однажды мне нужно было подслушать, о чем говорил Соловьев с гостем, каким-то барыгой из московского министерства, который доил наш город, курируя большой федеральный строительный проект. Но слушал я их разговор недолго. Они говорили о политике, перемывали кости премьеру и министрам, обсуждали их всем известные решения и ничего закулисного, ничего оригинального. Такое плетут в любой компании, за любым пьяным мужским столом. А у меня есть принцип, ну, принцип — не принцип, но есть некая установка: о политике болтать не хочу! Даже есть такая команда: «Стоп! Меня это не касается!» Я не в силах что-либо поменять наверху, чего ж об этом и говорить? Там совсем другой мир, другие связи и силы, и никогда не откроется та личность, которая принимает решения, а чесать лясы попусту о том, почему у премьера мешки под глазами, — чушь собачья! Моя политика делалась вокруг меня, та политика, на которую я мог повлиять, где я принимаю решения. Так я и перестал слушать треп московского гостя с Соловьевым, хотя московский гость, наверное, кое-что знал из сокрытой от толпы жизни верхов, но, думается, тоже вряд ли мог влиять на политику, — так, карманы себе набивал на хлебном месте...

— ...Чего ты раскудахталась? За границу уеду!

— Кому ты там нужен? — съязвила Ирина.

— Я не нужен. Мои деньги нужны! — ответил Соловьев строго. (Я даже представил его кривую ухмылку.) — Тебе ведь мои деньги тоже нужны оказались?

Ирина молчала: вопрос коварный. А Соловьев ей подсказывал, пьяно и вульгарно:

— Вспомни, откуда я тебя вытащил? Если б не я, работала бы швеей на фабрике, жила бы в бараке с алкашом-слесарем, пила бы... не мартины в итальянских ресторанах...

— Дурой была. Повелась на твои побрякушки, — негромко отозвалась Ирина. Тут она, как мне показалось, глубоко вздохнула и — почти в крик: — Да, за деньги! Да! Если б не деньги, чего бы ты, урод, стоил?! Ты

посмотри на себя! Башка облезлая, живот большой, ножки — как спички... Я на тебя, уroda, лучшие годы жизни положила. Ни ласки, ни настоящей любви не знала... Но и ты ни копейки в гроб с собой не унесешь. Да и деньги-то ваши грязные. Обирали пенсионеров, стариков на квартплате надували. Ничего святого у вас, уродов, нету... Локти кусаю, что согласилась для тебя куклой служить...

Ирина была моложе Соловьева лет на пятнадцать. Красивая, неглупая, хозяйственная — все в дом, — но мина замедленного действия в их семейные отношения была заложена с самого начала: я знал, что и этот дом, и накопления Соловьев переписал на свою дочь от первого брака, у которой к тому же трое детей — внуки соловьевские.

— Ишь ты! Куклой она служила... — громко хмыкнул Соловьев. — Я тоже жалею, что на тебе, курве, женился. Если б знал, какая ты... Еще и на передок слабая... Думаешь, я не знаю, как ты к слесарю своему бегаешь?

Тупую семейную ругань слушать не хотелось, хотя и из нее можно выудить что-то ценное. Но уж больно противно. Я прекратил подслушивать. Осторожно перекрыл вентиляционную задвижку, замкнул тайный канал в чужую жизнь. Везде какие-то вывихи и изгибы. А ведь посмотришь на Соловьева и Ирину со стороны: вроде радушная пара. Достаток, путешествия за границу, а оказывается...

К Соловьеву я не пошел. Правда, скоро он сам, пьяный, с бутылкой виски припелесу ко мне. Мне было неприятно и неловко смотреть на него. И жалко в то же время. А ему нужно было выговориться. Я это сразу понял. Он держал в себе тайну, но кто-то сказал: легче на языке держать раскаленные угли, чем тайну... Впрочем, тайна была относительной. Коррупционный скандал, конечно, скоро бы всплыл.

— Меня прижали, пришлось указать на Галковского... Вообще сейчас в городе всю колоду переменяют. Галковский — это только начало.

Я смотрел на него, зная о его разговоре с женой, и мне он казался очень уродливым. Действительно, голова с редкими волосенками, тонкие губы, дряблая шея... А ведь Ирина его молода, свежа, недурна собой... За деньги явно выскочила. Кто из них подлее? Он, который обворовывал пенсионеров через квитанции из ЖЭКов, или она, которая легла под него, как дворовая девка, и набивала себе цену... Впрочем, у таких, как Соловьев, разве могут быть честные жены?!

— Все воры, — заговорил упрямо и агрессивно Соловьев. — Все, все воры! Каждый тащит на своем месте! Пусть понемногу, но тащит... Все воры! Все, кто имеет доступ к бюджету!

— Меня ты тоже вором считаешь?

— А твои строительные сметы честные? — запальчиво спросил Соловьев. — Или отчеты в налоговую?

Я хотел было возразить, пуститься в рассуждения о сметах, о том, что советские сметы устарели, а новые, буржуазные, не выстроены правильно. Однако что-то остановило меня. Если даже я вор, то вор поневоле. Уж тем более бабушек через ЖЭКовские квитанции никогда не обирал... Но все же Соловьев прав. Все воровали — каждый на своем месте: в автосервисах, на стройке, в торговле... Везде, как зараза, как микробы, распространялось желание нечестного заработка. Я не знал, что с этим делать. Мне было противно все это видеть, этот воровской капитализм, но его привили нам сверху, наверху должны были и прервать воровство. Но власть пока была слаба. Я об этом не рассуждал. Я это видел в реальнос-

ти. И опять же не мог воздействовать на это. Потому и не любил, не хотел трепаться насчет власти.

— А бабы все суки...

— Не все! — тут же возразил я.

Соловьев вскинулся на меня, пьяно икнул, согласился:

— Наверное, не все. Те, кто возле денег, — все... Показали тут этого богача. Олигарха. Долговязый, с маленькой башкой. Придурок этот, еще машину какую-то из пластика хотел сделать. Он стаями молодых девок на курорт возил. Кто эти девки? Шлюхи! Разве нужен был им этот змей? Они на его рожу смотрят, а видят толстую морду на долларе...

Он выпил еще. Я не пил. Я сразу сказал, что пить не буду, мол, у меня есть еще дела, придется садиться за руль. Он и не настаивал, только попросил стакан воды или сока для запивки.

Затем мы услышали, а после увидели, как со стороны его дома уезжает машина. Это его жена Ирина помчалась куда-то на серебристом «Лексусе».

— Отчалила, курва... — пробормотал Соловьев. — Ну, и пускай! Так лучше... — Он встал из-за стола. Чуть покачиваясь, пошел к выходу. — Прощай, Валентин, — сказал он тихо и как-то раскаянно. Вяло махнул рукой.

Мне стало жаль Соловьева, даже в сердце что-то кольнуло. Его патрона Галковского, которому светила «десяточка» за взяточничество и злоупотребления служебным положением, мне не было жалко — ни тогда, когда он был свободен и нагл, ни сейчас, когда он был в неволе и жалок, — а его пьяного сообщника на свободе стало жалко. Наверное, я знал о нем что-то большее, чем о Галковском. И вообще, когда знаешь о человеке достаточно, его всегда почему-то немного жаль. А может, я просто не встречал цельных, неуязвимых, счастливых людей?! В каждой судьбе была какая-то прореха, боль, которые нельзя было заклеить и залечить деньгами.

Что-то неприятное накатило в душу. Я пожалел, что не выпил с Соловьевым, может быть, я как-то поддержал бы его. Он ведь, уходя от меня, совсем стух. И почему он вспомнил про этого придурка олигарха, который начал лепить какой-то нелепый автомобиль? Мне вспомнился американский актеришка, богач из Голливуда, который ездил с молодыми шлюхами по миру. Они все улыбаются, ластятся к нему... Потом прошла информация: он покончил жизнь самоубийством в одном из дорогих отелей. Наверное, был пьян и разочарован, надоели ему все, в том числе смазливые бабы из окружения, да и сам он себе надоел, видать, порядком. Поставил точку. Может быть, уходя из жизни, что-то понял, что нельзя так жить, как животное, и что этому должен поскорее прийти конец. Вряд ли кто искренне сожалел, что он покончил с собой, — жалко было денег, которые он мог бы потратить на окружение... Где деньги — там безусловный цинизм. И любви там быть не может. Тут Соловьев был прав. А его Ирине уж очень нравилась реклама, в которой баба говорила голосом стервы: «Если любишь — докажи!» — и дальше шла картинка: вывеска ювелирного магазина.

...Хлопок был не силен, но отчетливо слышен. Я сразу понял, что это выстрел из пистолета. Я находился в столовой, и хотя с Соловьевым нас разделяла капитальная стена, различить одиночный резкий хлопок вполне удалось. Я прибежал в прихожую, переобулся из тапочек в туфли,

выскочил на улицу. Но тут же остановился. Какое мое дело? Зачем я буду совать нос в чужую судьбу? А если Соловьев истекает кровью? Еще жив пока? Нет, такой грех тоже тащить было бы тяжело. Набрал его номер. Телефон молчал. Я позвонил в полицию. Отделение было рядом. Попро-сил приехать. «С соседом явно что-то не то... И как будто выстрел...» По-лицейские примчались через несколько минут. Так оно и случилось. Со-ловьев покончил с собой выстрелом в висок. Смотри-ка, мужик-то какой отчаянный — в висок! Случись бы мне стреляться, подумал я, стрелял бы себе в сердце. В голову неприятно, пуля мозги наружу вышибет...

Ночью не спалось. Пришлось пить виски, который оставил у меня Соловьев. Чуть меньше полбутылки. Помянул, почтил его память... Хотя зачем жил этот человек? Он не приносил другим пользы, обирал бедных, жил за чужой счет. Спросят ли его там, зачем он жил? Я сомневаюсь... Кое-как уснул, уже далеко за полночь. В бутылке виски ничего не оста-лось, зато спал почти до обеда как убитый. Телефон выключил.

8

Анна позвонила ближе к вечеру. Я возвращался из конторы: закры-вал перед отпуском кое-какие бесконечные прорехи в делах. Ох, как хо-телось думать о добром, о светлом, об отпуске, о встрече с Ладой, нако-нец... Не тут-то было! Анна истерично кричала в трубку, плакала, каза-лось, она во всем винила меня:

— Толика увезли полицейские! Забрали прямо из дома! Говорят, для выяснения... Какая-то машина! Как будто он угнал... Что делать? Они его посадят?

— Успокойся. Я все узнаю и позвоню.

«Я все узнаю и позвоню», — я повторил эту фразу трижды.

Тут явно чувствовалась рука Шарова. Я набрал его номер. Но он в телефон прошептал мне:

— Я на совещании... Не волнуйся, позвоню.

Хм, ждать... Человек в экстремальной ситуации должен действовать, а мне предложили ждать. Я предложил ждать Анне. Где-то в полиции ждет Толик. Чего? Я поехал домой, чтобы действительно успокоиться, подготовиться к разговору с Шаровым; подготовиться к самому худше-му. А разве возможно подготовиться к самому худшему?!

Солнце садилось. Стало прохладней. В приоткрытое окно уже врывал-ся холодный поток. Но в этом потоке весеннего воздуха было что-то жи-вое, новое... Сын у ментов, замечен в угоне машины и — упаси Бог! — в распространении наркоты; с любовницей разлад и скандал, дочка в Мос-кве собирается выскочить замуж за какого-то старика... моих лет, да еще сосед-коррупционер застрелился, чтоб не сидеть в тюрьме... — веселень-кое время!

У дома, у соседской калитки, я увидел грузовую машину с мебельным фургоном. Грузчики выносили из дома вещи, упаковывали в фургон. Что за чертовщина? Неужели грабеж? Но вскоре я заметил вдову Соловьева.

— Вещи забираю! Сваливаю! — с некоторым вызовом сказала Ирина.

— Что так?

— Этот скотина дом записал на дочь от первого брака. У нее трое от-прысков. Уже приезжала, осматривала... — Тут у Ирины что-то поперх-нулось в горле, видать, слеза перебила голос: — А это все мое, нажитое! Свое забираю. Свое! — Она даже постучала себе кулачком в грудь.

Я пожал плечами, пошел к себе домой: ничего против не имею, и в ваши имущественные дела с покойным не полезу. Причудлива жизнь! А Соловьев-то оказался не промах: чуял цену любви молодой супружницы, поэтому все имущество на дочку от первого брака и записал.

Я ходил из угла в угол, ждал известий от Шарова. В голову лезла разная чепуха. Почему-то вспомнился эпизод.

Это был жуткий эпизод. В начале девяностых. Разное пойло продавали везде, где возможно: все киоски были забиты бутылками. На многих висели объявления «Куплю ваучер». У меня тогда был провал: ни шиша в кармане. От отчаяния и злости я взял свой ваучер и пошел к ближайшему киоску. Зачем мне этот ваучер?! Те, кто дорвался до власти, не вызывали никакого доверия, про уважение — и заикаться не стоило. Все равно обманут...

— Сколько за ваучер? — спросил я бабу в окошке за зарешеченной витриной.

Она ответила.

— Чего так мало? — возмутился я. — На пару бутылок дешевой водки только...

— Скоро эти фантики вообще отменят, — фыркнула продавщица. — Не хочешь — отходи! Очередь ждет.

— Ладно, давай, — я в общем-то без сожаления, а скорее с брезгливостью сунул ваучер в окошко.

Баба-продавщица зорко разглядела ваучер, потом дала мне пачечку мятых, грязненьких купюр. «Мелочью, сволочь, дала!» — подумал я.

Я не отошел далеко от зарешеченного киоска, стал считать деньги. Зачем считал, сам не знаю. Оспорить бабу в окошке, если она даже меня обсчитала, было бы невозможно. Сзади я услышал разговор двух парней, наглых, веселых, подвыпивших. Оба в кожанках, в спортивных штанах, в кроссовках, говорят с блатным привкусом, но явно не блатные — фреерочки. Покупали они виски и «Амаретто». Говорили о каких-то «телках», к которым сейчас «ломанутся». Я невольно стал наблюдать за ними. И тут сбоку к ним подчалил мужик. Бомж не бомж, вернее всего, доходяга-алкоголик в грязной тельняшке. Стал канючить:

— Ребята, выручите, немного не хватает...

— Зачем тебе? Ботинки новые купить? — язвили парни.

— Не-ет. На бутылку красного.

Один из парней вдруг сказал:

— У меня сегодня день рождения. Я куплю тебе бутылку красного, только при условии: ты ее сразу, без останова, выпьешь из горла. Сможешь?

— Запросто! Я моряк! Все пропьем, а флот не опозорим! — раздухался мужик.

— Если не сможешь, отдаешь мне свою тельняшку, — позубоскалил парень. — Все, по рукам?

— Да чего тут! Не первый раз.

Пил доходяга прямо у киоска. Бутылку вина. Я навсегда запомнил название той гадости «Золотые купола». Начал он лихо, опрокинул бутылку, задрал голову. Перед этим улыбнулся, осклабился:

— Ну, с днем рожденьца! Давай, поехали!

И он осилил, выпил. Отстоял честь флота. Дотерпел.

— Ну, молоток, мужик! Спас тельняшку. Всю бутылку одолел, — посмеивались парни.

Мужик тоже улыбался. Но уже не так, как перед питьем. Он улыбался как-то дико, словно не понимал, где он, что с ним и, наверное, не слышал, что ему говорили молодые зубоскалы. Парни еще подшучивали, нахваливали героя-моряка, а мужик бледнел. В какой-то момент он разом, будто подрубленный, упал. Ни один из парней не дал ему руку, не помог, они резко свалили. Я подошел к мужику, наклонился и тут же понял, что он уже мертв. Что это было? Глупость? Жадность? Подлость парней? Кто виноват? И за что погиб этот мужик? Ведь еще не старый. Годов под пятьдесят...

Поняв, что он мертв, — скорее всего, враз отключилась печень, получив такой удар пошла неизвестного происхождения, — я тоже поспешил уйти от киоска, чтобы не числиться свидетелем.

...Нет, видно, не зря я вспомнил этот эпизод. Жизнь чудна и жестока. Что-то в неизбежный момент в ней сшибается, сносит с катушек, и все катится под откос. Я снова напомнил себе с горькой усмешкой: мой сын в КПЗ, с любовницей — раздрай, дочь выходит черт знает за кого замуж, сосед застрелился, его вдова вывозит мебель... В этом есть какая-то очевидная хрупкость и неустойчивость жизни. Раз — и что-то оборвалось навсегда.

Я не выдержал — снова позвонил Шарову. Не может его совещание продолжаться два часа. Да и рабочий день кончился.

— А я тебе собирался звонить! — радостно откликнулся Шаров.

«Вот мент! Ведь знал, что жду его звонка, а он не звонил почему-то, чего-то выжидал, испытывал... зачем-то оттягивал».

— На каком основании... — начал было я, но Шаров перебил меня:

— Спокойно выслушай, а потом будешь задавать вопросы. — Шаров прервался, скорее всего, закурил сигарету. — Твоему сыну нужна сильная встряска. Болевой психологический шок! Что-то вроде удара током, ожога утюгом или строгий отцовский ремень... Его задержали, я подчеркиваю — задержали! — по подозрению в угоне автомобиля... Ну, той развалюхи-«жигуленка»... Все его дружки не знают, за что его задержали, поэтому прижмут хвосты, постараются отгородиться от него. Ведь за таблеточки светит ого-го! Так что ты, Валентин, не суетись. Твой парень должен побыть в изоляции. Пусть немного посидит в подвале. Это очень полезно... Главное в этой истории — оградить его от дружков. Понимаешь, раз — и навсегда. Раз — и навсегда! Это же не герыч. Это герыч — для индивидуалов, а таблеточки — это компания. Нет компании — нет интереса к этому дерьму... Мать Толика предупреди: мол, сынок сильно обкакался, надо хорошенько помыть ему задницу. Про наркоту больше ни слова... И вообще тебе сына надо нагрузить чем-то другим. Возьми его к себе в бизнес. Поменяй институт ему. Или... Или жени! Это выход, кстати.

— Ему только двадцать лет.

— Это и хорошо. Ранний брак для мужчины — это спасение. Появляется ответственность, включаются мозги. А то за юбку мамки держатся до сорока лет, а потом...

— По-моему, невесты у него нет, — с сомнением усмехнулся я.

— Подбери! — цинично и расчетливо сказал Шаров. — У нас в городе, по статистике, на одного мужика приходится по две бабы. А ночку Толик пусть проведет на нарах. Это отрезвляет. Попроще надо и пожестче. Пусть он почувствует прелесть — пожить хотя бы ночь в шкуре преступника...

Я не нашелся, как и чем оспорить суждения Шарова. Он был опыт-

нее и умнее меня в этих вопросах. Только что-то шелухнулось в сердце, и я вспомнил себе об уколе, которым спасал (точнее — калечил) своего сына, чтоб укрыть от армии. Грех несмываемый, дурной. Но ведь никто не мог дать гарантию, что в армии с ним не случится чего-то *такого...* Тогда и укол Льва Дмитрича покажется благом.

В прихожей брякнул колокольчик: кто-то пришел. Я подозревал, кто это может быть. Интуиция — вовсе не мелочь! Какая-то совершенно зыбкая, неопишуемая и неосязаемая, и в то же время существующая в мозгу догадка, предчувствие, махонький сигнальчик, который дает основание на особые взаимоотношения с человеком, от которого пришло легкое дунновение эмоций, или, напротив, ты сам стал источником этого сквознячка... Я не ошибся. Пришла Ирина, соседская вдова. И конечно, тоже с бутылкой, и тоже с дорогим виски, как еще совсем недавно приходил сам Соловьев.

Ирина была уже немного пьяна. Бутылка была неполной.

— Зашла вот, Валентин... Не прогонишь?

Она села на тот же стул в кухне, что и ее покойный супруг. Она и курила, и пила так же, как Соловьев. Все же три года, которые они прожили вместе, наложили отпечаток. Она говорила, но я слушал вполуха, это был какой-то оправдательный треп: как она настрадалась, зная, что в любую ночь, в любой час могут нагрязнуть менты и забрать мужа «из теплой постельки, с шелковых простынок...» — она так и выразилась! — «на железную койку». Я смотрел на нее исключительно сейчас как на женщину. Как самец на самку, которая свободна, полупьяна и в общем-то вряд ли откажет, если захотеть с ней оказаться на одной постельке... Смазливая, с мелкими чертами лица, небольшими, но пухлыми губками, всегда ярко накрашенными, глаза выразительные, серые, большие; голос соблазнительный, тихий и вкрадчивый, по фигуре не толста — не тонка, *самое то* для любовных утех. Сидела она нога на ногу, не в брюках — в юбке, в чулках, и на ее колени я часто косил взгляд.

— ...Не знаю, Валя, какого ты рода-племени, а я не скрываю, что вышла из грязи. Барак, отец — работага, пил, конечно, мать и меня из дому гонял... Мне такой судьбы не хотелось — вот я и оказалась замужем за стариком Соловьевым. Он меня особо не доставал, так что жила и жила на свой лад. Но я всегда знала, что как по канату иду... Подует посильнее и — на хрен вниз! — Она передохнула, выпила. Я тоже пригубил из рюмки вместе с ней. — Ну вот, всю мою судьбу ты и знаешь. Да и знать-то нечего. А все денежки и недвижимость этот жлоб на дочку записал. Он только дочку и любил. Я ему была нужна так, для картинки, для солидности. Молодая, симпатичная... — Тут Ирина посмотрела на меня и кокетливо и с некоторым вызовом. — А тебе я нравлюсь, Валя?

— Нравишься, — усмехнулся. Душой в общем-то я не покривил. Она была привлекательна, молода, чувствовалось, что в ней есть огонь, неутоленный темперамент.

— Может, Валечка, поваляемся немного? — спросила-предложила она, положив свою пухленькую аккуратную ручку с красиво — в красную точку — накрашенными ногтями мне на колено.

Я ненадолго замер, вспомнил себе, что она все еще пока соседка, хотя она уже вдова, но всего лишь второй день.

— В другой раз, Ирочка, — отказал я мягко и снял со своего колена ее руку.

Она встала, не скрывая обиды, колочке сказала:

— Второго раза не будет... Прощай, сосед!

— Будь здорова.

— Это я заберу, — она взяла бутылку виски — там оставалось еще граммов сто — и пошла...

Попутного ветра, подумал я, хотя как мужчина я уже ругал себя, казнил даже: что ж ты, придурок, отказать такой фифе, такой сдобной булочке! А мораль? Да какая тут мораль? Ее тут нет, она тут не нужна, ее тут и быть не должно! Ладно, все! Стоп! Хватит об этом!

9

Последний телефонный разговор с сыном у меня был о злосчастных таблетках.

— Пап, пап! Мама сказала, что ты забрал пакет! — кричал Толик в трубку. В голосе сквозило не столько возмущение, сколько страх.

— О таблетках забудь. И вообще никому никогда — ни слова!

— Но ведь с меня они спросят... — голос сына дрогнул.

— Тем, кто с тебя спросит, я отвечу сам. Скажи, что отраву забрал я. И дай им номер моего телефона.

Теперь пакетик с таблетками лежал предо мной. И все же, что это за дрянь? Я достал одну таблетку, внимательно рассмотрел на свету: ничего особенного, таблетка и таблетка, беленькая, обычных размеров. А как ее принимать? Рассасывать, что ли? Нет, это вряд ли. Наверное, сразу глотать. Я забросил таблетку в рот, проглотил и тут же запил водой. Надо же попробовать, что это за чертов препарат!

Прошло четверть часа. Прошло полчаса. Я ничего не чувствовал. Ни прилива сил, ни веселости, ни какого-то опьянения. Может, доза маловата, может, на меня этот опиум не действует уже — только молодых пробирает, у которых кровь живее... И все же какое-то подспудное течение в моем организме и моих мозгах появилось. Я теперь не просто сожалел о том, что пренебрег, упустил, недооценил соседку Ирину, назвав на тормоза стеснительности и морали, а клеймил себя некрасивыми словами за то, что упустил возможность «любви», наслаждения — всего того, ради чего и живет на земле мужчина! Ах, глупый дурень, простофиля, чудак с другой буквы! Может, к соседке сходить? Я ее отшил... Можно извиниться — она понятливая... А если закобенится, ну и пусть — лишает себя удовольствия! Я рассмеялся и, осмелев окончательно, распалив себя, с одной стороны, желанием, с другой стороны — самоукоризной, что не воспользовался ее предложением при первом намеке, собрался пойти к соседке Ирине. Что я ей скажу, припершись ближе к полуночи в гости? Чего-нибудь скажу. Не дура — и так все поймет. Я собрался и пошел к соседке. Захватил с собой бутылку дорогого виски.

В окнах у Соловьевых не горел свет. Спит, может? Надо позвонить на сотовый... Но телефон я с собой не захватил. Я подергал ручку чугунной витиеватой калитки, догадался, что в доме никого нет. Уж слишком мертво смотрелись окна. Да и вдова — чего она одна будет скорбеть в пустом доме. Не дура, хоть и только что вдова... Я опять рассмеялся.

Вернувшись к себе, я полез в старые записные книжки. Там у меня был где-то записан телефон одной дамы легкого, очень легкого, даже наилегчайшего поведения — мне опять стало смешно, — и еще в сто раз силь-

нее захотелось женщину. Я искал телефон Маши. Пусть не получилось с соседкой-вдовой, но в Гурьянске полно женщин, которые готовы к любви, которые даже алчут, которые безотказны... Но их враз под боком и не найдешь. Для того чтобы найти враз, и существуют эти Маши, которые одарят любовью за деньги.

Нет, как ни верти, нельзя запретить себе думать о жратве, о физической боли и боли душевной, а главное — нельзя запретить себе думать о женщине! Я искал телефон Маши, искал, и все во мне зудело при воспоминании о ней. Ах, какая Маша!

Она была моей первой *покупной* женщиной. Я тогда позвонил в «контору дамских услуг», заказал «подругу». В то время я жил в другом доме, опасался соседей по подъезду, по лестничной клетке, поэтому то и дело бегал к двери, смотрел в глазок: было уже поздно, ночь, но вдруг в неурочный час попрется какой-нибудь сосед или соседка выносить мусор...

Итак, я ждал свою первую проститутку. Волновался. Не мог усидеть на месте. Не знал, надо ли накрыть для приличия стол? Может, хотя бы шампанское и шоколад? Чуть какая-то! Продажную девку встречать шампанским!

Вот и долгожданный звонок в дверь. Я почему-то на цыпочках подошел к двери, посмотрел в глазок: там стоял парень. Так и должно быть, это был развозчик — чернявый, усатый, какой-то нерусский. Открыл дверь. Парень, злоехидный, не здороваясь, туло и грязно спросил: «Какую выбираешь?» К парню с обеих сторон подошли две девицы. Одна белая, остроносая, худая, размалеванная, как мальвина... Я сразу и наверняка знал, что не эту, хотя вторую толком еще и не успел разглядеть, так, глянул мельком, но был уверен — вторая лучше подойдет, она краше. Она, вторая, была в темной шляпке, так что тень заслоняла ее лицо, а по фигуре она была полнушкой, в отличие от своей напарницы.

— Ее, — сказал я осипшим голосом, указал на шляпку.

— Деньги сразу! — строго сказал парень.

— Сейчас, — я пошел в комнату за деньгами, троица при этом осталась на лестничной клетке, и мне чудилось, что все соседи из всех глазков из квартирных дверей разглядывают эту пеструю компаньку.

Я был тогда очень неопытен, мог бы подольше повыбирать, парню дать только предоплату... Но тогда я покорно отдал сразу все деньги. Пересчитав деньги, чернявый сказал:

— Буду ровно через два часа! — И он даже слегка подтолкнул ко мне ту, в шляпке, а белая, которую я отверг, казалось, издевательски посмотрела на меня на прощание и беззвучно хмыкнула; возможно, мне это лишь показалось.

Только тогда, когда доставщик с белой девицей, которая, похоже, нарочито цокала каблуками, спускаясь по лестнице, ушли и все стихло, я, стыдясь и краснея, посмотрел на свою избранницу, тихо сказал:

— Проходите!

Язык не повернулся сразу назвать ее на «ты».

Она была пьяная, раскрашенная не меньше, чем белая. Я в первую минуту уже десять раз пожалел, что стал искать приключений на свою задницу со шлюхами. К тому же она сразу наполнила дом чужим развратным запахом — запахом дешевых духов, косметики, смешанным с алкоголем, с чем-то непотребным, вульгарным и знойным. Я даже захотел ее сразу выгнать. Денег мне не было бы жаль... Но любопытство. Именно любопытство, а не страсть, сдерживали меня.

— Че ж ты пьяная на работе? — разглядыв блестящие от алкоголя глазки проститутки, я заговорил по-простецки.

— На моей службе без допингу нельзя! — Она рассмеялась. Этим она давала некий повод повеселиться с ней и не воспринимать все всерьез. Юмор — палочка-выручалочка во всех случаях жизни.

— Как звать? — спросил я.

— Маша! — сказала она громко. — Но не с Уралмаша... — Она опять засмеялась.

— Проходи в комнату, — кивнул я и подумал: это хорошо, что она не бука.

Она сняла с себя бережно шляпку, пальто. Пальто я помог ей снять, при этом придирчиво оценил ее фигуру. Ничего особенного: толстоватая, невысокая, но грудь большая, аппетитная и щечки кругленькие, очень подходящие для проститутки.

Маша прошла в комнату, села в кресло, закурила, не спрашивая разрешения. Я решил ее ни в чем не усекать — я же в первый раз, может быть, у них, людей этой профессии, так положено.

Вдруг Маша опять засмеялась, казалось, ни с того ни с сего, приступом, весело, будто ее прорвало.

— Сейчас в сауне шутку рассказали... — сквозь смех заговорила она. — Выпив бокал вина в рыбном ресторане, Танечка поняла, что хочет не только рыбку съесть... — Она опять засмеялась. — Правда, классная шуточка? А? — Она шумно выдохнула дым сигареты, спросила: — А вина у тебя нет? Наверняка есть, доставай. Выпьем для сугрева.

— По-моему, тебе и без вина весело. В сауне тебя, видать, поднакачали...

— А ты что думал? — простосердечно призналась Маша. — Ты за день первый, что ли? Э-э, нет, бывает за ночь трое-четверо, а бывает, конечно, за неделю — голяк. Или один какой-нибудь скряга... Ты не верь, если кто-то тебе будет лапшу вешать, целкой прикидываться. Работа у нас сдельная... — Она рассмеялась. — А вот еще, там, в сауне, один козел рассказал... Мужик бабу снял в кабаке, привез домой. Угостил вином. Ну, дело к сексу... Она разделась. Он берет ружье и говорит: «Иди в огород». А там холод, снег. Она — ему: «Ты чего, с ума сошел?» Он ей: «Иди, а то застрелю!» Она голая вышла в огород. Он ей: «Лепи снеговика! Лепи, а то застрелю!» Она слепила снеговика. А мужик ей и говорит: «Ты пойми. Я в сексе-то не очень... Зато снеговика ты на всю жизнь запомнишь!» — Она опять смеялась.

— Ты анекдоты сюда приехала травить? — в моем голосе уже было не скрыть раздражения. Что за наглая шлюха? Призналась в том, что ее только что имели, должно быть, несколько мужиков где-то в сауне, и теперь выгибается...

— Да нет, что вы?! — враз остепенилась она, заговорила даже на «вы». — Я приехала к вам... Я свою работу знаю... Я профессионалка!.. Выйдите, пожалуйста, на минутку из комнаты. Мне нужно переодеться.

Первая мысль, которая просквозила мозг: «Я выйду, а она у меня что-нибудь стыбзит». Но я послушно вышел из комнаты. Курил в кухне, чувствуя неловкость своего положения.

Минут через пять Маша позвала меня:

— Входите, мой господин!

Я вошел в комнату, увидел ее и слегка растерялся. Она была одета, или, правильнее, раздета, или, точнее, разодета — истинно как прости-

тутка. В черных чулках в сеточку, со швом, с черным поясом, приспущенный с груди лифчик, тоже черный и ажурный, глаза язвительно и завлекательно горячи, а губы накрашены ярко-красно. Черные блестящие волосы отблескивали на свету; причем свет она успела подобрать: выключила люстру, зажгла бра над кроватью.

— Ну, мой господин, — тихо, вкрадчиво, развратно произнесла Маша и положила руку мне на брючный пояс.

...Оплаченные два часа истекли быстро. Но и насытился я ею быстро. Маша — не с Уралмаша — уехала. Я где-то на клочке бумаги записал ее «личный» телефон, а не конторы... И все мечтал повторить нашу встречу, но дела закрутили, и Маша — не с Уралмаша — растревилась где-то на просторах Отчизны, одаривая шальной похотью и своими анекдотами других клиентов. Я даже временами скучал по ней, по другим ее «коллегам» — нет, а по ней скучал, может, потому что с ней впервые испробовал жуткий животный вкус исступления. Машу не забыть никогда. Маша — как наркотик. Я помнил о ней чувственно, осязательно даже. И теперь мне хотелось, жадно хотелось этого наркотика, я рыскал по записным книжкам, ведь клочок, на котором был записан ее телефон, сунул куда-то в книжку. Хотя чушь, разве сохранился номер, разве может быть эта Маша несколько лет на одном месте? И все же я упорно искал, хотел найти, хотел найти Машу — не с Уралмаша. Сейчас она подошла бы мне в самый раз! Под веселое настроение! Я не чувствовал действия таблетки, я уж и забыл о ней. Но мне маниакально хотелось женщины. И в этом был какой-то решительный настрой, веселый и куражливый.

Наконец, я сказал: «Стоп! Машу не достать... Поехали к Полине! Не выгонит... Повинюсь, привезу букет цветов, шампанского... А там видно будет». Что-то дико заныло, засвербело внутри... Мучительно захотелось плотской любви; представил, как с букетом роз примчусь к Полине, разбужу ее, растрясю, заберусь в теплую постель... Нельзя запретить себе думать о женщине! Это невозможно! Точно так же, как голодному невозможно запретить думать о жратве... Я даже, грешным делом, подумал о своей *бывшей* Анне, хотя еще много лет назад дал зарок на эту тему: даже в мыслях к ней не притрагиваться... А что?! Сын сейчас в клетке, можно заехать и утешить Анну... Как-никак, немало прожили вместе.

Ночь. Темная, весенняя ночь. Ни луны, ни звезд. Невидимое темное покрывало над головой. Тепло, ночью не прихватывает, и дух весны превосходно чувствуется. Я ехал и блаженно улыбался. А ехал я вроде бы к Полине... Но на развилке повернул на проспект Ильича. Немного в сторону от направления. Пока еще не хотел признаваться сам себе, но ехал я на «веселый угол». Я еще не решил твердо, не понимал своих намерений, но объяснение для них приготовил. Я мужчина, в силе, холостой, мне нужно *это!* Полмира мужчин *этим* пользуется!

На этой улице, в конце проспекта, в городе всегда отирались проститутки, поэтому у горожан и название здешнему месту было красноречивое. Сутенер или сутенерша подходили к обочине дороги сразу, как только маячили включенные фары машины. Мне не хотелось общаться с сутенером или с сутенершей, мне хотелось подцепить девочку-одиночку, вышедшую без прикрытия, без посредников. Правда, таких, поговаривали, лупили конкурентки, да и под защитой работать было безопасней, хотя защита, конечно, была призрачной, ведь уличной девке никогда не

известно, в чьи лапы попадет. Маньяк, убийца... «Свят, свят, свят...» — я рассмеялся.

Братъ уличную шлюху — это, конечно, неприлично. И все же в этом-то есть особый кайф... Мог бы найти в Интернете какую-нибудь «элитную», но разве они чем-то отличаются от уличной? Снова — смех.

Вот она! Одинокая девушка! Я мысленно возрадовался, что обойдусь без шального примирения с Полиной. Правда, одинокая девица стояла не там, где должна стоять. Возможно, она и есть индивидуалка, ловящая клиентов еще до «веселого» развратного угла. Она торчала на остановке автобуса, которого, скорее всего, и не предвиделось.

Когда я приблизился, она подняла руку. Что это? Проститутки руку не поднимают... Все же я остановил машину, приспустил окно, оценил девушку.

— Подвезите меня на Лобачевского, двадцать. Я заплачу. Без этого только... Я не проститутка!

Почему-то я сказал ей:

— Ладно, валяй, садись.

Девушка села на заднее сиденье — значит, точно: не проститутка.

Почему человек совершает поступки, которые не намеревался совершать? Сложна, капризна психология! Малейшие веяния, какие-то флюиды... — и раз, все катится не по намеченному. Ну, ладно, сорвалось так сорвалось. Жалеть не надо! Все! Вперед!

— На Лобачевского, двадцать — общежитие колледжа. Ты студентка? — спросил я девушку, оборотясь к ней.

— Да. Заканчиваю в этом году... Уборщицей в ресторане подрабатываю. Смена кончается поздно, а на велосипед еще не заработала.

— С юмором... Молодец! Не боишься поздно возвращаться?

— Боюсь... Меня обычно официантка на машине подвозила, а вчера она уволилась, и у меня — облом. Я тоже скоро уйду.

— Из-за официантки?

— Нет, надоело по ночам работать... А сегодня банкет еще был, юбилей у какой-то тетки из мэрии. Подчиненные ее блестящими конфетти осыпали — нескорю все промоешь. К полу прилипло, ногтями отдирать.

— А родители где?

— Село Ильинское. Не слышали?

— Да ты почти землячка! Я сам родом из Васильевского поселка. На другом берегу реки. В Ильинское я к Тимофею Ивановичу приезжал...

— Я помню вас. Меня Даша Баранова зовут. Я в коммуне у Тимофея Ивановича каждое лето. Я вообще хочу там жить... Там люди другие, там все по-другому... — Даша говорила с интересом, а я потихоньку мотал себе на ус... — В коммуне сейчас уже двести домов. Там люди друг другу не завидуют. Понимаете?

— Понимаю!

Мы доехали до общежития. Даша полезла за деньгами. Я следил за этим...

— Сколько я должна?

— Сколько не жалко...

— Все жалко! — рассмеялась Даша. — Я-то думала, вы меня по-землячески так подбросите.

— Я проверить тебя решил, как среагируешь. Молодец, честно призналась, что жалко...

— Деньги нелегко достаются.

— Хочешь подработать? — спросил я.

— Конечно, хочу!

— Позвони мне завтра. У меня в доме надо генеральную уборку сделать. На двух этажах.

Даша на меня пристально посмотрела. В салоне воцарилась какая-то минуточка загадочной тишины.

— Ты плохое-то, Даша, не думай. Ты мне в дочки годишься. Я к тебе приставать или что-то такое не буду...

— А вдруг я буду? — рассмеялась она. — У меня есть подружка, студентка тоже. Конечно, она скрывает, но вроде как содержанка, живет с одним богатынским... Призналась мне, что привыкла очень. Путных парней все равно на всех девчонок не хватает... Она даже говорит, что любит своего папика. А он уж старичок.

— Я для тебя тоже старичок? — спросил я.

— Конечно!

— А у тебя парень есть?

— В кандидаты напрашивается?

— А вдруг?

— Нет пока парня. Тюфяки все какие-то. Выбрать не из кого.

— Ну, пока, позвони...

Мы расстались.

Искать на ночь себе подругу почему-то расхотелось. Поехали домой! Никаких приключений! Как говорил классик: может и курильщик посидеть без табачку. Вперед!

Ехал и вспоминал студентку Дашу. Пусть она внешне не красавица, обыкновенные черты лица, но она очень красива своей молодостью, непосредственностью, выросла в селе, работы не боится, язык подвешен, самостоятельная... Эх, Толика отдать бы ей в руки, на воспитание. Даша, похоже, себя таблетками развлекать не будет... Но главное — она мне напомнила про коммуны Тимофея Ивановича. Это был мой школьный учитель; он нам все рассказывал про «Город Солнца», про «Остров Утопия», сам мечтал создать общество без зависти и богатства, где люди будут жить не напоказ, а по совести и справедливости. Вот и строил он свою коммуны. Надо бы туда Толика на профилактику, да Дашу в напарницы...

Я вернулся домой, и только тут, дома, в одиночестве, ощутил, как мне становится грустно, одиноко, скучно. Неужели таблетки так незаметно действовали, что я смеялся и весел был от их воздействия? А теперь запас энергии таблеток выходит. Вот ведь зараза! В какой-то миг было желание заглотить еще таблетку... Но я рассмеялся своему желанию — назо! Все, кранты! Эксперимент кончен!

...Сон был дурной и безжалостный.

Мне снился тот моряк-алкаш из девяностых, который «захлебнулся» в бутылке «красули». Вот этот моряк падает, я подбегаю к нему, а на его месте лежит мой безжалостный Толик...

Я вздрогнул, промычал сквозь сон от боли и отчаяния и проснулся. Я сел на постели. Голова гудела, включил телефон (на ночь я его отключаю, вернее — только звук): несколько пропущенных вызовов, все от Анны. Понятно, он ее сын. Он и мой сын. И он еще ребенок! Да, ребенок... Я стал поскорее собираться, чтобы поехать в полицию к Шарову. Анне позвонил с дороги, пообещал, что без Толика из полиции не выйду.

До Шарова я добрался только к обеду. Сперва он был на совещании, потом на каком-то срочном следственном эксперименте, потом опять на совещании, а потом проводил оперативку в своем ведомстве. Наконец, настал обеденный перерыв. Я сманил Шарова в ресторан, который был напротив их конторы. Там Шаров будет более разговорчив, после стакана вина вина отмякнет, все растолкует и подскажет, как быть дальше с Толиком.

— Следователь его допросил, — докладывал мне Шаров. — К счастью, ничего серьезного за ним нет. Даже машина, эта желтая развалюха, можно сказать, не в угоне. Ее владелец бросил ее во дворе. Полгода не ездил. Машина на ходу... Он бросил ее за ненадобностью. Вот как народ живет! Если, мол, угонят, туда ей и дорога. А мы на жизнь жалуемся. Хорошо, Валя, в стране Советской жить. И не хрен тут тужить! — Шаров развеселился, но мне было ясно, что он чего-то не договаривает. — Когда машинешку угнали, хозяин не пошевелился. Сказал: «А вдруг вернут. Покажутся и на место поставят». Словом, с машиной дело замнется быстро. А вот с таблеточками... — Он задумался. Как всегда — ненадолго. Потом поднял бокал с вином: — Давай за жизнь! Какова она есть, за нее, милую!

Мы выпили. Шаров сидел слегка задумчив, но задумчив *негрустно*. Я не стал торопить его с рекомендациями по сыну, решил копнуть немного в сторону, хотя сам не понимал, зачем мне это? Наверное, праздный интерес:

— Скажи мне, Шаров, у тебя мечта есть?

Он враз оживился:

— Поехать в отпуск. К морю. Выспаться. Бросить курить... Да полно всяких мечт!

— Это не те мечты. Это условия комфорта, о которых мечтают каждый день. Я про другое. Альпинист хочет покорить пик Коммунизма, лыжник — получить золото на Олимпиаде, певец — исполнить партию князя Игоря в Большом театре...

— Все, брэк! — остановил Шаров. — Валя, я тебя понял. Было бы еще время у меня для этих мечт. Нет у меня никаких высоких мечт, или как там правильно — мечтаний. Я циник. Такие, как я, ни во что не верят, не хотят верить, а когда еще узнаешь, на что способны люди, совсем туши свет...

— Но ведь в юности-то что-то было? — не отставал я.

— В юности — было. Я мечтал стать бандитом. Воровская романтика. Шмары, деньги, автомобили. Хотел ограбить банк. Даже схемы рисовал нашей ближайшей сберкасссы... А попал служить в ментовку. В армию — во внутренние войска. Зону охранял. Оттуда и подался в школу ментов. А ведь мог бы быть, наверно, неплохим вором. Это мне и помогает выйти на след разных негодяев. Я себя на место вора или бандита ставлю, и картина ясна...

— А в Бога ты веруешь? — зачем-то спросил я.

— Нет... — вздохнул Шаров.

— Вот и я не верую, — сказал я. — Но Бог есть... Был такой академик, не помню фамилию, какая-то нерусская. Он с пеной у рта доказывал, что нет никакого Бога, что все это вымыслы. А вот 11 сентября, когда башни в Нью-Йорке разнесли, он усомнился в правильности своей теории. И больше никогда не говорил, что Бога нет.

— Почему?

— У него там дочь была в этих башнях.

— Выжила?

— Нет... В том-то весь корень... Если даже ты не веришь, а кто-то другой верит, и от этого зависит твоя жизнь, значит, Он есть! Если бы не было Бога в широком смысле этого слова, не было бы и фанатиков-террористов. А если они есть, значит, есть и Бог...

— Ну, мне философствовать на такие темы некогда. У меня дела земные, уголовные. Поножовщина, бандиты. — Шаров набрал номер на мобильном телефоне. — Самсонов, из подвала Анатолия Буркова отпусти. Скажи ему между делом, чтоб больше не попадался и маму с папой слушался. И скажи: пусть ждет у крыльца, сейчас отец за ним приедет.

— Валя, — обратился ко мне Шаров. — Психологический эксперимент, я думаю, удался. Но ты извини... Накладка вышла. В драку там ввязался твой Толик, ну, и огреб слегка... Хотя это тоже хорошо. Молодец, не забоялся. А что по моське получил — опять же урок.

— Зачем? Зачем так-то?! — выкрикнул я.

— Видит Бог, я не виноват. Я ж ничего не подстраивал! Он же глупый еще! Заступить там, в камере, за кого-то решил... — Шаров зло усмехнулся. — Там, где преступники, там обязательно подставят, сдадут. Там нет чести и быть не может! Это проверено веками!.. Ты, Валя, объясни ему это. По-отцовски. Я тоже ему это объясню. Но я мент. А у нас к ментам относятся, как к ментам!

...Толик сидел на скамейке, недалеко от полицейского отдела. Нижняя губа у него была разбита, припухлость видна была и под глазом — намечался фингал. Толик косо смотрел на Шарова и стыдился меня. Он что-то шепнул и отвернул от нас лицо, мне показалось, он заплакал.

Сердце у меня оборвалось. Я обнял сына, почувствовал мелкую дрожь в его теле.

— Пойдем, Толик, все кончено! — я обернулся к Шарову: — Я твой должник.

— Я не против, — сказал Шаров.

Деньги за свои услуги он брать не стеснялся. Но исключительно от людей проверенных. «Проверенных»? Почему-то вспомнился чинуша Галковский, который теперь давал показания. Все вокруг «проверенные», пока за задницу не взяли.

Из машины я позвонил Анне, успокоил: сын со мной и побудет у меня. Словом, все хорошо, что хорошо кончается.

По дороге Толик молчал. Он стеснялся своего избитого вида, прищипывал лицо за воротником куртки. Я тоже никак не мог начать разговор. А надо было начинать этот разговор! Надо было говорить хотя бы словами циника Шарова, мне казалось, что это он подстроил драку в камере, чтобы сыну была проучка. Но я мог и ошибаться. Толику я пока вдальбывал шаровские выкладки мысленно: там, где шпана, бандиты, нет нормальных понятий, есть жестокие животные понятия и вечное правило: сегодня сдохнешь ты, я — завтра! Но Толик, словно бы услышав мои распаленные мысли, сказал с досадой:

— Надо было мне в армию идти. Я теперь очень жалею об этом.

Я ничего не ответил, только мысленно удивился: ведь это мы с Анной, *сберегли* сына от армии, а теперь — вот, получите...

— Отвези меня домой, — попросил Толик.

- Ко мне заедом. Поешь, успокоишься. Расскажешь про таблетки.
- Зачем ты их взял? Мне за них башку открутят.
- Не открутят... Эти мальчики с таблетками сейчас под колпаком.
- Я не хочу никого подставлять! К тому же Макс мой друг.
- Я с ним сам поговорю! Я и мать не хотим ездить к тебе на зону с передачами...

Толик промолчал.

Мы приехали ко мне домой. Я усадил сына за стол. Надо было с Толиком как-то понежнее, чтобы он все рассказал сам. Я чувствовал, что сын ступил в дерьмо, но он не безнадобен: он простой парень, в меру избалованный матерью и мной, недосмотренный в чем-то, но он не дурак, не негодяй, не преступник. И не трус, если полез в драку...

Я налил Толику вина, пододвинул поближе тарелку с едой: колбаса, сыр, разогретая пицца. Толик наверняка голоден после «тюрьмы»... Я тяжело вздохнул: надо же, до чего докатилось.

— Толик, — сказал я охрипшим от подкатившей к горлу горечи голосом, — мне нужно знать правду. Как ты вляпался в эту таблеточную историю? «Жигуленок» этот, вождение без прав... Запомни: в тюрьме места всем хватит!.. Выпей сперва, чтобы снять стресс. Драка еще какая-то дурацкая.

— Нормальная драка. Я в долгу не остался, — буркнул Толик. Взял стакан с вином и выпил залпом. — Если меня теперь в армию призовут, я прятаться не буду...

— Сейчас ты на дневном отделении института. Студентов не берут! — сказал я.

— Налей мне еще вина... А у тебя есть конфеты или что-нибудь сладкое?

Я налил. Он опять выпил. И опять залпом целый стакан. Нет, это не похоже на наслаждение хорошими напитками, он что-то хочет притушить в себе, подумал я, наблюдая за сыном.

— Меня выгнали из института, — сказал он тихо, с винной горечью в голосе.

— Давно?

— Уже больше месяца... Мать не знает.

— За что?

— Неуспеваемость, пропуски. Контрольные не сданы... Хвосты еще с зимней сессии... — он поднял на меня глаза. — Я не хочу изучать свойства металлов... И быть технологом металлургических производств.

— Но у нас не было выбора. Я мог устроить тебя только на эту специальность.

— Когда-то я хотел стать летчиком гражданской авиации. Даже в аэроклуб записался. Помнишь?.. Надо было все-таки попробовать в летное училище. Хотя что-то было бы в жизни. Цель какая-то.

— У каждого человека есть мечты о профессии. Я в свое время хотел стать архитектором. В художественную студию ходил. Античные головы рисовал, изучал перспективы, оттенки... Рисовал везде, где придется, даже в армии на учениях... А потом... А потом в институте выучился на строителя! Есть шанс — воспользуйся. Нет шанса — живи с тем, что есть. Нос не вешай!

Толик заметно опьянел, взгляд его туманился. Разбитое лицо казалось страшным и печальным.

— Ты поспи, Толик. На диване... Пледом укройся.

Когда он лег на диван, укрытый пледом, горло у меня опять перехватило от слез. Кроме отеческой жалости к сыну, было и раскаяние: ведь это мы с Анной пропустили его надежду, его мечту. Даже напротив, задушили эту мечту на корню.

Толик почти мгновенно уснул.

Я смотрел на спящего сына, с избитым лицом, съезжившегося под пледом. Мне было его жалко, очень жалко, и все его глупости, все его юношеское раздолбайство — езда без прав, таблеточки, пропуски занятий — казались какой-то глупой мелочью по сравнению с самой жизнью, единожды дающей ей, всем только один раз, и не важно, кто ты: рохля, труженик, праведник или грешник... Ты на этой земле всего один раз!!!

Вот Рита, дочка, она всегда казалась более цельной, волевой, даже хваткой, а Толик — человеком ведомым; отпускать его из гнезда — не то, что Риту, — было страшно, да и Анне не хотелось совсем оставаться одной. Кто виноват? Стоп! Виноватых искать не будем!

Мозг работал четко и целенаправленно.

В институте я договорюсь. Толику сделают «академку», как-никак проректором работает мой давний приятель Игорь. К тому же мы с ним должны свидеться сегодня вечером в бане (мужские банные процедуры у нас раз в неделю обязательны). А чтобы мозги проветрить Толику, отправлю-ка я его в коммуны к Тимофею Ивановичу, вроде как в стройотряд; там и люди добрые, и работы полно. Еще к Толику в шефы Дашу надо бы подкличить.

Даша оказалась легка на помине: вскоре позвонила, спросила, когда приехать на генеральную уборку?

— Сейчас и приезжай!

Даша привезла сумку, в которой были халат, перчатки, какие-то тряпки, порошки.

— Все, что можно вымыть, вымой. Окна, двери... Все, что можно вычистить, вычисти. Если что-то постираешь, не буду против. Стиральная машина включается просто. Там вон еще гора неглаженного белья, — рассказывал и указывал я Даше.

— Э-э, мне это на несколько дней тогда.

— У меня есть гостевая комната, — усмехнулся я. — А это мой сын, познакомься. Он, правда, с тяжелой процедуры...

Толик смутился. Еще бы, подглазье припухло, губа — тоже.

— Даша у нас профессиональная горничная. Студентка, труженица, — представил я.

Она тоже смутилась, шепнула:

— Привет-привет... Я окна сперва вымою. В комнатах наверху.

Мы остались на кухне вдвоем. Я хотел предложить Толику поехать домой «к маме», но почувствовал, что он уже не хочет «к маме»; похоже, Даша его чем-то заинтересовала, и он хотел бы познакомиться с ней поближе. Что ж, дадим время.

— Я сейчас отведу на часок. Прораб просил на объект заскочить... А ты помоги девушке, может, что-то передвинуть надо. Ведро воды принести... — сказал я.

— А она что, правда, у тебя в гостевой комнате ночевать будет?

Я только усмехнулся на это. Сын меня к Даше, похоже, ревнует. Значит, она тронула его сердце с первого взгляда. Это хорошо, это очень хорошо. Женщина способна, хотя бы на время, отнять мозги у мужчины. Ученые утверждают, что мужчина думает о женщинах каждые пятнад-

цать минут. Толику такое общение — только в плюс. К тому же о комму-не мне подсказала сама Даша. Она и его просветит. Правда, Толик кисл-овато выглядит. Впрочем, с синяком на морде перед женщиной не будешь смотреться как Бельмондо.

Уходя, я крикнул из прихожей Даше:
— Толик тебя чаем напоит!

11

На другой день ко мне снова приехала Даша: приборки еще хватало, а я тем часом отправился на встречу с Максом. Поехал не на своей машине, а на разбитых желтых «жигулях». Полиция даже забирать их не стала. Шаров сказал: на кой они, если даже заявления нет от владельца, пусть сам ищет и забирает свою рухлядь... А мне этот «жигуленок» нужен был, чтобы передать его вместе с таблетками Максиму и отделаться от всего разом.

Едучи на «жигуленке», я удивлялся: ведь когда-то такая машина была мечтой! Она была комфортна (сам на такую нарадоваться не мог, когда купил), хотя отличалась от моего нынешнего БМВ, как паровоз от космического корабля... «В чем же провал русских? — думал я. — Нет технологичности, нет расторопности, вечное отставание в темпах развития от цивилизованного мира. Но есть же Менделеев, Лобачевский, братья Черепановы, Попов, даже телевидение изобрел русского ума человек — Зворыкин. Или все кроется не в техническом смысле, а в русской философии?»

Во всем, в каждой клетке русского мира, в каждой клетке русской земли, русского воздуха есть некая философия бытия, смысла жизни. И эта философия противостоит прогрессу, вернее прогресс для нее не есть погоня за комфортом бытия. Да и что есть прогресс? Сто новых функций в новом смартфоне, который нужно менять каждый год? Нет, речь, конечно, не идет об элементарной сытости и уютиности жизни, речь идет именно о ста новых функциях в новом смартфоне. Речь идет об излишествах, о мишуре... Одинаково можно утолить жажду из хрустального бокала и из граненого стакана. Погоня за прогрессом лишь изнашивает нацию, отнимает у нее что-то очень важное, может быть, самое важное... Ведь высшая мудрость в созерцании, покое и гармонии...»

Я вздохнул, поймал себя на мысли: «Точно — старею, раньше такие мысли ко мне не закрадывались. А нынче стал размышлять о созерцании, а не о действии...» Глубоко вздохнул. «Нет-нет! Мы еще повоюем! Еще все впереди: и встречи, и любовь, и, возможно, дети. Надо перед отпуском шмоток себе подкупить, придется. Если мужчина не думает о новых сорочках и галстуках, значит, не думает о женщинах, значит, теряет либидо... А ведь весна, однако, за окном. Весна!»

Я припарковал машину у самого склона, на обочине с небольшим покато. Это была окраина города, где находился строительный рынок. Я уже придумал план, как избавиться от наркотиков, которые лежали сейчас в бардачке. Сделать это надо при свидетелях, то есть при Максе.

Макс приехал на стареньком «мерседесе», за рулем был не он, его подвезли. Машина остановилась чуть поодаль, и Макс — я вспомнил, что видел этого парня как-то раз в компании с Толиком — пошагал к «жигуленку», где сидел я. Он подошел к машине, подозрительно заглянул в салон, увидел, что Толика там нет.

— Садись, поговорим, — сказал я Максу в открытое окно. — Толик не смог приехать. Я за него.

Макс огляделся по сторонам и, похоже, кому-то кивнул в машине, в «мерседесе».

— А вы кто такой? — ершисто спросил Макс.

Я смерил его взглядом: самоуверенный наглец, серьга в ухе, значит, еще и рассчитывает на некую экстравагантность, наверняка, считает себя умнее других. Ничего... Это поправимо.

— Я отец Толика.

— Он бы еще мамку послал, — съязвил Макс.

— Я думаю, ты тоже скоро о мамке вспомнишь. Толик посидел в КПЗ. Теперь твоя очередь.

— Вы меня не пугайте! Не о чем нам говорить...

Я выскочил из машины, схватил Макса за руку, выпалил ему прямо в лицо, грубо и властно:

— Ты, щенок, сейчас мне все расскажешь! Или сядешь лет на пять за наркоту! Я позабочусь!

— Отвали! — резко вырвался Макс.

Я не держал его, даже оттолкнул от себя, когда он вырывался.

— Ах, так? Ну, и ты вали! Уже к вечеру тебя объявят в розыск... И начнешь ты славное путешествие по России — в бегах... За наркоту сроки большие. Вали, голубчик!

Он не уходил.

— Чего вам нужно от Толика? — резко выкрикнул я.

— Он денег нам должен, — сказал Макс, понимая, что разговор неизбежен.

— Сколько и за что?

— Он дурь брал на реализацию. Деньги не вернул...

— Это ты его втянул в грязное дело, а теперь подставил? Друг называется...

— Я тут ни при чем. Он не маленький мальчик... Он деньги не мне должен.

— Тем, кто сидит в машине? — кивнул я на «мерседес».

— В общем, да. Но не совсем... Не этот главный, другие есть... — Макс говорил с неким вызовом и обидой, но мне хотелось его разговорить, получше понять, друг он Толику или просто так, попутчик. Он был явно еще не совсем испорчен, а, стало быть, управляем и вменяем... Но он чего-то боялся.

— Пойдем к твоему главному, — сказал я и пошагал к «мерседесу». Макс сперва растерялся, а потом как-то опасливо пошагал за мной.

Перед тем как уйти от «жигуленка», я пяткой незаметно выбил камень из-под переднего колеса.

В «мерседесе» сидел нерусский, кто он по национальности — я не понял, откуда-то с Азии.

— Послушай меня! — сказал я резко. — Ты продаешь туфту! Покупатель обижен. Вот тебе результат экспертизы. А еще вот визитка подполковника Шарова. Если будут вопросы, позвони ему! — Я сунул ему лист с экспертным заключением о «таблетках», где указывалось, что они наполовину состоят из глюкозы. — А еще заberi свою развалюху. Вот ключи! В бардачке лежат твои туфтовые таблетки! — Я бросил ему на сиденье ключи от «жигуленка».

Нерусский хотел что-то возразить, возможно, он хотел все как-то сгладить или, наоборот, накатить на меня, но ему помешали...

— Э-э! Чего это? — вдруг закричал Макс. — Машина! Э-э! Смотрите!

— Ух ты! — выкрикнул я. — С ручника, наверно, ушла!

Мы кинулись с Максом к машине, но было уже поздно — она катилась под уклон в овраг, и спасти ее уже не мог никто. Нерусский выбрался из «мерседеса», огляделся и, видать, почуяв какую-то опасность или подвох, снова вскочил в машину, мотор взревел, и «мерседес» с пылью из-под колес сорвался с места.

Наша беготня с Максом и возгласы были тщетны. «Жигуленок» уже безнадежно выкатился на склон и, переваливаясь на кочках и на камнях, набирал скорость, летел вниз. Спасать машинешку, рискуя собой, было поздно и нелепо.

Макс, по-детски разинув рот, смотрел, как машина катится по склону, все больше и больше набирая убийственную скорость. Вот она подпрыгнула на кочке, накренилась, перевернулась сперва на бок, потом еще боковой удар о камень — и пошла кувырком. Наконец, врезалась в большой валун и затихла. Язык пламени вырвался из разбитого окна, а потом — из-под капота.

— Откуда я знал, что у нее ручник не держит. Ездите на всяком дерьме! — бормотал я.

— На скорость надо было поставить... — бормотал в ответ Макс.

— Надо было! — вскричал я для остротки.

Макс ринулся вперед, вниз, но я ухватил его за рукав:

— Ты чего, парень? Сбрендил? А если взрыв... Без башки хочешь остаться?

Пламя постепенно охватило машину, черный дым потек из окон, из щелей, из распахнутых дверей. «Вот и отлично! — мысленно подытожил я. — Что и требовалось показать...»

Я достал мобильный телефон, набрал номер:

— Але! Пожарная! Тут на втором километре от развилки машина под откос ушла. Стояла пустая... Ручник, видно, отказал. Хозяина нигде не видно. Может, он на базу ушел строительную. Или в забегаловку... Машина ушла с откоса и загорелась. Людей там не было.

— Сюда менты приедут, — испуганно сказал Макс.

— Тем лучше. Все сгорит к их приезду... Нет машины, нет проблемы. Нет таблеток, нет головной боли...

— А деньги?

Я ответил на его вопрос с запозданием, уже тогда, когда мы зашли в небольшое кафе на другой стороне дороги. Чтобы все загладить, решил выпить с Максом пива, охладить пыл, успокоить парня.

— Деньги они не спросят... Они торговали подделкой. Как бы с них еще деньги не потребовали... Вот и тебе копия экспертизы на эту дрянь. Так что твоя клиентура, мол, требует с них неустойку. Лучшая защита — нападение. Но дело в другом: вы все на крючке... Так что...

Тут Макс изменился в лице, потемнел, озверел:

— Так я и знал, — сквозь зубы процедил он. — Сыночка своего отмазали, выгородили, а я подыхай! Вон у вас — деньги, связи и прочее, а у меня отец-алкаш. Мать работу третий месяц найти не может... С меня-то они не слезут.

— Слезут! Если сам этого захочешь... А этого ты захочешь! Ты же себя дураком не считаешь? Не собираешься же ты всю жизнь поганые таблетки своим друзьям продавать?

Макс молчал. Мне было жаль его. Но читать ему нотации я не собирался. Если умный, все поймет и сам. Если не умный, мои поучения ему не помогут. Но это я должен был ему сказать:

— Твои нерусские товарищи висят на нитке. И ты висишь на нитке. С ними больше никаких связей! Иначе никто тебе не поможет. К тому же они по крови чужие... Хотя и говорят, что люди делятся по человеческим качествам, но мне кажется, все делятся по главному признаку — по национальности! Назови мне свою национальность — и я пойму, кто ты мне: друг, враг или временный попутчик...

Мы оба смотрели в окно, где из оврага поднимался черный дым от горящих покрышек — догорал советский автопром.

Пожарные приехали. Но никто не собирался тушить укатившуюся по крутому склону в овраг машину. Следом приехала и полицейская машина с весело мигающими огоньками на крыше.

— Это теперь их проблемы. Впрочем, нет никаких проблем.

Дыму от сгоревшей машины становилось все меньше.

Макс выпил пиво, обтер рукавом губы. Сказал без страха, но с обреченностью:

— Они мстить будут.

— Мстить они не будут. И вообще. Это заблуждение... В 99-ти процентах случаев никто не мстит. Что-то в психологии человека есть такое, лень, наверное, что он прощает все даже самому злостному врагу... — Я сказал Максу это для успокоения. Но потом попробовал растолковать ему на личном примере. — Меня в школе один наглец ударил по лицу. Он был старше меня и сильнее. Из местных хулиганов. Он ударил меня по лицу — я поклялся отомстить ему. Поклялся перед своими друзьями. И не отомстил... Не знаю, жив он или нет. Может, уже сдох где-нибудь, а может, процветает, но я не отомстил. А клялся, что отомщу, и не отомстил. Помыслы человека шлифует жизнь. А она изменчива. Я, конечно, помню морду его наглуую, все помню. Даже как он обзывался. Даже фамилию помню.

— А как фамилия?

— Козявкин.

Макс усмехнулся. Он немного потеплел, а может, чуть опьянел от пива. Пиво было свежее, в красивых высоких бокалах, плотное и вкусное. С чипсами.

— Будешь еще? — спросил я у Макса.

— Давайте.

Это было хорошо. Мы с ним немножко сдружились. Я признавался ему и дальше по поводу мести:

— А Козявкина я помнил всегда. Но почему-то не хотел выполнять свою клятву. Можно было бы найти его, начистить ему рыло. Но что-то сдерживало. И не страх, а какая-то внутренняя лень, уход из того времени, из тех обид... Правда, меня и сейчас немного берет чувство досады, что не отомстил. Но реально отомстить уже не смогу.

— Почему?

— Потому что психология... Что-то в человеке есть такое, от чего смиряются и с обманом, и с подлостью других... Так что не бойсь, Макс. Мстителей на земле единицы. Мельтешить только перед ними не стоит. Не думай о грустном!

Домой я возвращался на автобусе. С Максом мы расстались.

Я сидел у окна и смотрел на весну... Светило солнце. Некоторые деревья уже чуть-чуть опушили мелкой светлой листвой. И в воздухе было что-то разлито из детства — и этот желтый свет, и этот запах.

Мне было сейчас очень-очень хорошо.

Да, хорошо!

Как редко бывает такое здоровое чувство, когда тебе хорошо!

Я даже часто боялся этого состояния, когда «хорошо», словно суеверно предполагал и поджидал, что жизнь готовит мне за это «хорошо» что-то очень плохое. Наверное, природа человека, природа его мышления и инстинктов именно такова: за что-то хорошее должна быть немалая оплата. Но впоследствии я просто редко погружался в это блаженное состояние «хорошо». Его нельзя сравнить с послебанной нирваной или с кайфом, или с состоянием оргазма. «Хорошо» связано с чем-то иным, с духовным чем-то. В детстве это состояние приходило ко мне часто, особенно часто — с пробуждением, с лучами солнца, что-то играло в груди радостное, светлое и было «хорошо»; в юности это чувство и состояние приходило обычно в предпраздничные дни, перед Новым годом, или — особенно — по весне, когда бежали ручьи, искрились тающие сосульки, когда что-то бурлило в крови; позднее, в годы студенчества оно появлялось все реже и реже, в период какой-то легкомысленной влюбленности, а потом еще реже. Это состояние «хорошо» приходило нечаянно, приходило ненадолго, и главное — я его побаивался; радовался, радуется, но и побаивался, словно впереди похмелье или какая-то расплата за это недолговечное, зыбкое счастье.

Автобус приехал на нужную остановку слишком быстро. А так хотелось насладиться этим «хорошо» и ехать, ехать, ехать... Впрочем, автобус тут ни при чем. Я поймал себя на мысли, что это «хорошо», это замечательное легкое настроение, это скоротечное счастье свободы и отдохновения разрушается не внешними обстоятельствами, а внутренним состоянием. Может, слишком несовершенен человек, если способен волей мысли вогнать себя в уныние?

...Был у меня дед по матери, Иван Кузьмич, ветеран войны, человек трудолюбивый, истый праведник, а отчего-то всегда грустный. Бывал он часто молчалив. За целый день слова из него не вытащить, бывал он очень раздражителен, зол, а иногда начинал говорить «за жизнь» и открывался со стороны неожиданной; во всем он видел смысл и значение: если мы пришли в этот мир, то обязаны жить... и каждый выполнять свои функции: пахарь — пахать, вор — воровать, политик — врать, учитель — учить... И быть не может никаких сомнений, что кругом несправедливость, — все справедливо! — примерно так рассуждал он в эти редкие минуты неожиданных откровений, когда он был удовлетворен жизнью, удовлетворен полностью, приняв ее такой, какая она была, а все искажения жизни относил на собственное несовершенство.

Однажды дед признался мне — рассказал о «своей» войне и о своей судьбе. Как ветеран он носил орденские планки на пиджаке. Но награды были в основном юбилейные. Я не лез с расспросами. Он сам высказался, странно и резко.

— Вот все время, Валька, казалось, что жизнь меня как-то обошла. Богатства не нажил. Должностей не получил... А сейчас думаю: на что мне богатство? Да и что есть богатство?.. «Победа» у меня старенькая была, а у соседа Николы — велосипед. Он на велосипеде едет, рот до ушей, а у меня морда кислая, хоть я и в «Победе»... Бригадиром был, а тоже все недоволен. Мечтал в председатели выбиться... А было у нас двое председателей. Один в тюрьму угодил за растрату, там и окочился, другой от

инфаркта помер в сорок восемь лет... А война, Валька. Ох, уж как мне эта война далась! — Дед Иван Кузьмич вздыхал, вертел в руках трубку: курить к той поре он не курил, но трубку курительную иной раз грыз... — Хотелось мне повоевать, Валька. Брат старший был на войне. Отец погиб на войне. За отца отомстить надо было. А по годам я не подходил. Молод. Но вот в сорок четвертом меня все-таки взяли. Ну, думаю, вот и сбылась мечта, теперь-то повоюем. За батьку им отомщу, гадам! А уж если голову придется сложить, так тому и быть... Прибыл я в полк. Там в штабе попался на глаза замполка по тылу. Спрашивает меня: как учился? Отвечаю: отличником был. Вот и хорошо, хлопец. Пойдешь ко мне на склад, кладовщиком. Мне грамотный паренек нужен... Три месяца я на складе работал. А войне уж и конец пришел. Вот такой я ветеран войны оказался. Невезучий... — Грыз мой Иван Кузьмич трубку, желваки играли на скулах. — А ведь полк-то наш в такую передрагу попал. От него и одного целого батальона не осталось. Выходит, я везучим солдатом оказался. На складе-то... Только порадоваться везучести этой не получается. Вот и всякий человек... Не может понять, где и в чем ему повезло. Сколь людей, таких, как я, ходит на жизнь в обиде! Ты, Валька, так не живи! Есть хлеб, есть вода, есть крыша над головой, есть солнце в мирном небе — вот в чем главное счастье!

Лукавил ли дед? Ведь все равно хотелось ему быть героем войны. Но, может, и не лукавил. Попал бы он в тот полковой бой, убили бы. Дали бы деду посмертно орден. И все! И меня не было бы, не родился бы я вовсе.

...Хоть и ушло, откатилось куда-то, растворилось в весеннем воздухе это магическое состояние «хорошо», но думы о высоком, о чем-то самом важном в мире не проходили.

«Отчего страдает русский человек? От приближения смерти? Нет. Ведь и молодым людям живется беспокойно, их тоже что-то угнетает: тревога, одиночество... Может, традиции у нас мрачные, власть дурная, религия, настроенная на страдание, оттого так грустно и задумчиво испокон веков на Руси, и мало веселья, а ежели и веселье, так связано оно с выпивкой, а после выпивки, как водится, голова болит и порой от стыда хочется повеситься... А все, наверное, оттого, что рано умирает мечта, остаются только надежды... Надежда заработать, чего-то купить, куда-то устроить детей... А мечта, высокая, вселенская, уходит от человека навсегда (ведь я же архитектором хотел стать, настоящим архитектором! — и где она, эта мечта?!), может, тогда душу начинает снедать тоска, смурь, а если еще и в личной жизни чего-то не состоялось, то и вовсе хочется выть от тоски».

Дома я застал Дашу за разглядыванием рисунков. Это были мои графические работы. Юношеские, увлеченные, живые. Тогда я рисовал за поем, бегал на все художественные выставки.

— На антресоли пыль протирала. А там папка. Заглянула... Да вы еще и художник!

— Я мечтал архитектором стать. Рисовал, экспериментировал, искал свою манеру. Но потом оказался на факультете «Промышленное и гражданское строительство», и художественные мечты погасли.

— Жалко, — шепнула Даша. — Вдруг стали бы великим художником.

— Нет, не стал бы. Для великого художника одержимость нужна.

Умение переступить через все... Я трусоват. Воспитан по-другому. Для меня важнее семья, уют, сытость. Успех какой-никакой... А пополнить ряды художников-неудачников...

— А что же вы сейчас один живете? Где ваша вторая половинка?

— Не нашлась пока, — ответил я уклончиво. Но тут меня слегка понесло: — Эх, девушки, девушки! Учить вас надо семейной жизни с детства. Если ты замуж за мужика вышла, ты с ним живи! Это главное в супружеской жизни! Женщин в старину даже силой замуж выдавали, и они жили. А нынче и по любви выходят, а жизни нет. А почему?

— А почему? — весело подхватила Даша.

— Потому что предназначение свое молодые девушки нынче не знают. — Я говорил полшутя, но хотелось бы, чтобы эта студентка Даша восприняла сказанное вполне серьезно. — Замужняя женщина должна с мужем неукоснительно спать, готовить ему еду, следить за домом...

— И только? — хмыкнула Даша.

— Нет, не только. Но это «не только» не должно быть главным!.. Вот купила ты, к примеру, авторучку. А она не пишет. Или попишет-попишет, да потом писать перестанет, потом опять попишет и опять каюк. Ты разозлишься и бросишь. Любая вещь должна служить тому, к чему она призвана. Так и люди. Так и жена!

Я говорил напористо, с разгоревшимся энтузиазмом, Даша, похоже, уже и не собиралась возражать моему напору.

— И еще запомни, Дашенька! Любовь там или нелюбовь, но ни в коем случае не надо выходить замуж за того, с кем у тебя споры, ссоры, выяснение отношений, ревность дурацкая... Не будет мира в семейной жизни. Выходи за того, с кем лад есть с самого начала. И во всем мужу подчиняйся! Детей рожай, не ленись... Тогда и семейное счастье придет.

— Вот за вас я бы замуж вышла сразу. Не раздумывая. Хоть завтра. Хоть сегодня. Хоть сейчас... — вдруг сказала Даша. Она смотрела на меня прямо, серьезно. Она в открытую предлагала мне руку и сердце. И свое молодое тело...

Словно от вина, голову мою слегка вскружило. Чередой, быстрой цепью, словно в кино, побежали кадры нашей с Дашей любви, мое жениховство, ее невестино белое платье, младенец в люльке наш, общий, еще что-то обрывочно-загадочно-приятное. Словно в омут. Но главное — был горячий соблазн: обнять ее, молодую, податливую... Что-то взорвалось в сознании, жизнь накренилась на один бок, и вся моя *будущая* жизнь с Дашей пронеслась одним махом, одним кадром, одной картинкой... Но я вовремя выправил крен, не прикоснулся к Даше. Стоп! Глупости! Это соблазн, западня!

— Чем же я заслужил такое расположение, ведь мы и видимся всего третий раз?

— За вами я была бы, как за каменной стеной. Не хочу путь матери проходить. Она билась за свой угол, за еду, за одежду, нас всех на ноги поднимала. А потом отец еще и к другой ушел... Мучилась, мучилась всю жизнь. — Она опять прямо, открыто и, казалось, очень рационально и честно, посмотрела мне в глаза. — А вы обеспеченный. О детях заботитесь. Все еще сопли Толику вытираете... Я бы тоже вам детей нарожала... И ревновать бы не стала. Глупости это — ревновать кого-то... Я ведь вам подойду?

— А как же любовь?

— Любовь пришла бы. Она ведь, как ветер: то налетит, то улетит. Я

думаю, что вас бы я разлюбила. Да и вы бы обо мне заботились. Вот это и есть любовь. А повздыхать при луне — это еще не любовь. Мир сейчас расчетливый. Все головой живут. Только дураки да нищие какие-нибудь сердцем живут. Потому что у них денег нет... Так что, если невеста вам потребуется, знайте — я готова. Все по-честному! — подчеркнула в довершение Даша.

— Ты это брось, девочка! — мягко, но четко пристопорил я ее. — Не забивай голову. Это только кажется, что мужик в летах да с деньгами — находка для личной жизни. Нет... Мы к пятидесяти уже все ущербные... Нет уже той силы, чтобы что-то делить сокровенное. Так, разве что жить в достатке. Как мой сосед, который на днях застрелился... — Я прервался, вспомнил не соседа, а его благоверную, которая в открытую хотела переспать со мной, когда еще и трех дней не прошло, как она овдовела. — Есть у мужиков такое обманное мнение: мол, есть женщины для жизни, их в жены надо брать, а есть, мол, женщины для любви, для взрыва... Так же и женщины заблуждаются... Ты, Даша, только за деньгами не гонись. Сегодня он богат, а завтра — нищ. Или наоборот бывает... Тебе надо свою жизнь прожить. Острую, красивую. Трудную, быть может. Но с любовью, со счастьем настоящим, с болью душевной... Ты на деревяшку-то не похожа.

— Я ни в кого больше не влюблюсь. И если бы вышла за вас замуж, ни на кого бы не посмотрела! — отекавила Даша.

— Ну, насчет этого не зарекайся!.. А видать, где-то ты шибко обоглась.

Лицо ее вдруг стало суровым, холодным и даже несимпатичным, как у тех, кто задумал мстить.

— У меня был парень. Его в армию забрали. А он оттуда не вернулся. Я испуганно взглянул на Дашу.

— Нет-нет. Не убили. Он там себе подругу нашел. Из каких-то вольнонаемных. Там и остался, в армии, контрактником... А я его ждала. Письма писала. Дома лежу на сеновале, на звезды смотрю и ему в любви объясняюсь. А он там на другую звезду смотрел.

— Может, это и хорошо. Закалилась. Судьба привередлива. Но обижаться на нее не стоит.

Даша вздохнула, принялась складывать мои рисунки в папку, потом стала протирать полки, замкнулась.

— Даша, ты поедешь в коммуны, там будет Толик. Ты ему привези гостинцев, сладкого чего-нибудь. Он пирожные любит, мороженое. Сам он, может, будет стесняться покупать, а с тобой за компанию... Я тебе денег оставлю.

— Нет проблем, — без эмоций ответила Даша.

...Она сказала, что не хочет идти путем своей матери. И ради другой жизни способна пожертвовать и любовью, и еще чем-то очень важным — душу продать, наверное. Я понимал Дашу. Понимал ее отлично. Я сам прожил большую часть жизни под прессом: всегда не хватало денег. Всегда в голове роился страх: вдруг останешься без работы, не у дел; вдруг заболеешь — на что покупать лекарства? Как прокормить семью? Как дать образование детям? Все — от зарплаты до зарплаты, в обрез, каждая копейка... Ах, черт возьми! Чтобы освободиться от этого, пойдешь на любой компромисс, начнешь врать, мелко мошенничать, продавать себя... Ведь Даша себя впрямую продавала мне. И сказала: «Все по-честному!» — хотя наверняка не разлюбила того парня, которого ждала из армии.

Что-то ледяное и очень тревожное хлынуло в грудь. Ведь дочка, моя Рита, собирается замуж за какого-то великовозрастного режиссера. Скоро я увижу дочь, все пойму. Нет, не все. У каждого своя правда, свой резон. Тут же позвонил Рите в Москву. Сказал, что скоро приеду. «Ура!» — вскрикнула она от радости.

Рита в нужный час в Москве на вокзале меня не встретила. Накануне я опять созвонился с дочерью. Она уверяла, что встретит у поезда, уточняя время прибытия, вагон. Я погулял по пустынному перрону (все приехавшие разошлись), потом позвонил по мобильному Рите и услышал металлический ответ: «Телефон абонента выключен...» Вдруг она в метро, едет, спешит, опаздывает. По перрону я гулял еще четверть часа. Рита не появилась.

Я не особо расстроился, но, конечно, расстроился и пошагал к камере хранения, чтобы оставить чемодан и уже без груза ринуться в Москву — разыскивать бесшабашную дочь. Почему она не приехала? Почему не отвечает на звонки? В предыдущем разговоре она что-то упомянула о репетиции, хотела отпроситься. Вдруг не удалось...

Полуденное солнце ярко светило, было тепло, но не жарко, даже как-то уютно, зелено и прибрано. Чистенько кругом в районе трех вокзалов. Никаких бомжей и разных темных типов, которые продавали еще несколько лет назад тут все и вели скупку всего. Да и машин не так уж много. Предпраздничные дни перед маем — многие отправились на дачи. Мне захотелось пройтись по Москве. Я давно здесь не был отпускником.

Не спеша пошагал к Садовому кольцу через проспект академика Сахарова. Направился туда не случайно. Я услышал какие-то митинговые голоса, увидел издали толпу, милицейский кордон. Это обилие людей и привлекло. В нашем заштатном Гурьянске митингов и людских сборищ на площадях не бывает, а здесь — пруд пруди. Простое любопытство вело меня к людскому скоплению с плакатами, флагами, растяжками, транспарантами.

Среди флагов российских мельтешили желто-голубые флаги Украины. Все понятно: нынче у всех на устах события в Незалежной, а главное — присоединение Крыма. Еще в поезде мне все уши соседи по купе прожужжали про Крым, но я не откликался на эти разговоры; радовался, что захватил наушники, слушал музыку, а политика меня не интересовала и, даст Бог, не заинтересует впредь.

Доброжелательно и даже несколько благодушно, не забывая голову речами и тезисами, которые вещали со сцены, я решил пройти сквозь не очень плотную толпу демонстрантов. Даже сам не знаю — зачем. Тоже, наверное, из любопытства. Сперва меня пропустили через рамку металлоискателя, а после я приблизился к сцене и простым, безучастным зевачкой смотрел на ораторов, которые неровной шеренгой стояли в углублении сцены. Впереди у микрофона выступал один из них. Но говорил он плохо, коряво. Его, наверное, хорошо понимали посвященные, а я почти ничего и не понимал, к кому и с какими фактами он апеллирует.

— Вся мировая общественность возмущена! Европа содрогнулась. Весь мировой порядок был подорван агрессией России и этими... как их там... зелеными человечками...

Почему я не интересовался политикой и даже не хотел знать о ней?

Я раз и навсегда принял для себя некий постулат: я не вправе, не в силах изменить что-либо в политике и лезть туда, спорить, рядить о ней — это только трата времени; такое хобби мне было неинтересно.

В истории страны, общества, в политике, в конце концов, все решают политики высшего звена, правители. Так устроен весь мир, так устроен был СССР, а теперь — Россия. Решает тот, кто принимает решения! На своем уровне я принимал решения о подрядах, о конструктивных проектах, о закупках материалов, о кадровых назначениях; я принимал эти решения каждый день, и немало людей зависело от принятия этих ничем не знаменательных решений. Но история страны складывалась из других решений и зависела от воли других деятелей; действия уличной толпы — это еще не воля властителей. Именно воля верховных жрецов прокладывает путь истории. Мое мнение тут никакой роли не играет. Так я думал раньше, не перестал я так думать теперь. И никогда не лез в политические дискуссии, споры, даже экономические выверты воспринимал как погодные фатальные явления. Мне было так проще жить. И все! Точка!

Сейчас я стоял со снисходительной полуулыбкой невдалеке от сцены, с которой выражали ораторы то ли солидарность с жителями оскопленной Украины, то ли негодовали по поводу российских властей, то ли одобряли эти действия. Нет, все же не одобряли. Я вслушался в речь говорившего в микрофон, разобрал:

— Аннексия Крыма — шаг жуткий, авантюрный. Россия, приобретаемая полуостров Крым, теряет свой материк!

— Как верно сказано! — услышал я восхищенный женский голос и обернулся: полноватая, рыхловатая женщина, в очках, в забальзаковском возрасте, улыбнулась мне, я кивнул ей, как бы здороваясь и соглашаясь с ее восхищением.

Восторг по поводу фразы выразили и с других сторон. Но восторг был негромок, краток, оратор был, видно, известен, красноречив и сыпал умножествами дальше:

— Да, нас здесь собралось не так много, как хотелось бы. Но разве Андрей Дмитриевич Сахаров, на проспекте которого проходит наш митинг, над которым всячески глумилась власть, не был борцом-одиночкой? Кто стал победителем в споре власти и Сахарова?..

Вопрос имел только один ответ, и он прозвучал из толпы одобрительным гулом с именем великого физика. Я не то чтобы не соглашался с этими людьми, мне просто было это неинтересно, и я пошел было дальше. Осторожно, никому не мешая, пробирался к окраине толпы. Но вдруг меня осенила странная мысль: что это за люди? Я шел, вглядывался в их лица, в их обличия, в их одежды, в их существа... Все эти люди были какими-то не такими, как у нас в Гурьянске. Я даже сравнил себя, так ли я одет, как они. Вроде и так, а вроде и как-то иначе... Да, они москвичи, а в них что-то иное, отличное от провинциальных людей, и все же это были особенные москвичи. И пусть я среди них похож по одежде, по возрасту, — тут были, в основном, люди среднего возраста, — но все же я какой-то заметно провинциальный, словно белая ворона. Или тут что-то не так? Всякий провинциал, который оказывается в толпе *настоящих* москвичей, испытывает неудобства, но тут было еще что-то. Я остановился и стал внимательней рассматривать толпу. Одежда отличается немного; среди этих людей, а, как я интуитивно понял, это все сплошь люди с московской пропиской, заметна некая небрежность в одежде, здесь одежде уделяется меньше внимания, чем в провинции, здесь не принято «наря-

жаться»... Но толпа на митинге на площади демократа Сахарова скрывала еще что-то. И тут я поймал себя на мысли: у этих людей будто бы не было национальности. И хотя здесь были армянин, еврей, татарин, казах, русский, национальность здесь как-то нивелировалась. Это были те, про которых говорили: «россияне»... «Точно! — чему-то порадовался я. — Это истинные россияне! Московские причем! Отшлифованные демократией последних десятилетий с их митингами, болтовней и вечным недовольством интеллигентов. Именно интеллигентов. Здесь была сплошь интеллигенция. Да и на сцене стояли журналисты, телекомментаторы, певцы, депутаты — сплошь *медийные* личности. А вон историк, который протер до дыр телевизор, с бородкой и кривоватым ртом...»

Тем временем на сцене к микрофону пригласили «поэта, публициста, телеведущего». Тучный, щекастый человек пошел что-то трубить в микрофон, явно желая понравиться толпе. Я не стал его слушать. Напоследок оглядел толпу, поразился своему открытию «московской интеллигенции», у которой нет ни возраста, ни национальности, ни определенной профессии, даже пола они какого-то неопределенного... Я усмехнулся: ведь в любой толпе я выискивал непроизвольно красивеньких женщин, а здесь таковых не было, женщины не имели женственности и красоты; стайку девчушек-студенток я в расчет не брал. В основном какие-то бесформенные, расплывшиеся, с чертами неясными, неяркими. Но таковы были и мужчины...

Просочившись в кивок митинг, не особо многочисленный, не очень плотный и какой-то вяловатый — то ли были митинги в начале девяностых, там все кипело у тогдашней интеллигенции! — я уходил прочь. Потом остановился, обернулся на митингующих. А ведь нет сейчас в России по сути никакой интеллигенции. Ее придумали как класс, как прослойку. Но теперь и класса нет! Где знаменитый класс рабочих? Где трудовое крестьянство? Где славная интеллигенция, куда входили советские офицеры?

Последнее, что я услышал и чему аплодировала толпа, были слова щекастого поэта:

— С этим Крымом теперь в приличном обществе не появишься...

О каком приличном обществе он говорил — я не понял. Где это общество? Но толпе было все, видно, понятно. Как же я отстал от них!

И тут наконец-то позвонила Рита.

— Папка! Я в театре! На репетиции! Извини, не могла встретить! Приходи прямо в театр! — летел в трубку темпераментный голос дочери.

Ну, вот все и выяснилось. Риту я мгновенно простил... Своего ребенка всегда простишь. И всегда его оправдаешь. Ведь это часть тебя самого. На душе стало легко. Но вспомнилось, как я ее через силу, через боль отпускал в Москву в ГИТИС. Анна была, конечно, против, я сам был против, а Рита стояла на своем: «Не поступлю — вернусь! Дайте ребенку осуществить мечту!» — И она смеялась, а потом поджимала губы, и мне было понятно, что от своего она не отступится. Она поступила. Разумная, твердая, решительная. Жаль, что в Толике такая же закваска оказалась пожиже. Подниматься одной в Москве — для этого надо иметь характер. И теперь она показывала свой характер. Она окончила вуз, работала в театре. Театр был невелик и не очень известен, средней руки, но это был московский театр! Молодчина, дочка!

До театра я добрался пешком, глазел на Москву. Нет, не понимал я этот город. Он не был мне чужим, но и стремления к нему у меня тоже не было. Хотя Москва — город крылатый...

Администратор в театре встретила меня доброжелательно, сразу проводила в зал:

— Рита меня предупредила. Сейчас репетиция. Но скоро кончится. Вот сюда. Пожалуйста, в ложе посидите. Здесь ступенька, осторожно.

В темноте небольшого зала я устроился в уголочке ложи, в тени, и принялся тайно смотреть репетицию — репетицию будущего зятя, режиссера Стаса Резонтова. Он был на сцене и с ним два актера: моя Рита — у меня даже что-то толкнулось в груди, когда увидел ее, одетую театрально, странно: она была в каком-то рубище с венком на голове, партнером у нее был молодой человек, раздетый по пояс, тощенький, с огромным темным крестом, который висел на шнурке на шее, и тоже с венком, имитирующем колючую проволоку.

Меж ними стоял Стас, взъерошенный, с длинными растрепанными волосами, с бородой, и объяснял актерам горячо, страстно:

— Ты бог, ты царь, ты величина! — Он тыкал пальцем актеру в грудь. — А не жалкий человечек из толпы! Ты властелин мира... Еще нет, но ты им будешь. Ты уже сейчас должен показать им, что ты их властелин, чтоб они преклонили пред тобой колени. А ты торопишься, срываешься на писк. Как говно!

Последнее слово потенциального зятя меня покорило, хотя, говорят, что это любимое слово у московской интеллигенции еще со старых времен — с оттепели... Может, так надо? С другой стороны, театр вроде храма. Когда бригаду на стройке орет на разнорабочего, который не несет раствор каменщику — это одно, а тут столичный театр. А может, иначе не высечь искру из актера, не создать шедевр?.. А тут уж точно будет шедевр! Стас Резонтов выглядел как гений.

Он переметнулся к Рите:

— Ты пойми: ты тоже не простая баба! Не какая-то шлюха, которая вешается на шею богачу. Ты тоже избранница бога! Тоже царица! Гордая, величественная, а не подзаборная...

Режиссер был в ударе, в кураже, он нагонял на актеров свою волну, которая должна была поднять их до вершин его гениальности... Я так и подумал литературно: «до вершин его гениальности». Мне стало и смешно, и горько. Надо же, человек придумает какую-нибудь дурь, заумь, какое-то бесовское действие, выдает это за искусство, а потом еще умудряется найти поклонников и убедить их, что это божественно и гениально. А если ты его искусства не понимаешь, то еще и обзовет тебя быдлом... Я ушел из ложи, из темноты зала, мне стало совсем неинтересно смотреть на будущего родственника, а дочку стало жаль.

В фойе театра я ждал Риту и попутно позвонил Олегу. Это был наш гурьяновский, мой сокурсник, друг студенческий, я ему еще накануне отзвонился.

— Ты где? Я тебя жду, уже стол накрыт! — гудел он в трубку могучим голосом.

Репетиция кончилась. Рита выскочила из зала, кинулась ко мне на шею. В рубище, в гриме, с черно подрисованными бровями и жирно удлиненными ресницами, такая незнакомая в своей роли полубогини и такая родная, неизменная.

Вскоре мы сидели с ней в театральном буфете, ждали Стаса.

— Он очень милый. Вот увидишь. А что матерится... Так они все матерятся. Не обращай, пап, на это никакого внимания... Без перца в театре не обходится...

— А Станиславский тоже матерился?

Рита рассмеялась.

— А скажи мне, дочка... Там у вас на сцене унитаза стоит. Это что? Декорация?

— Пап, это современное искусство. Не думай о нем... — она перевела разговор на другое. — Пап, мы скоро уезжаем в Польшу. Стасу предложили поставить там спектакль. Это так здорово! А уж после — свадьба...

Тут появился и жених. И опять впечатление, что он какой-то весь взъерошенный. Высокий, длинноволосый, с неаккуратной бородкой с проседью, глаза блестящие, большие, черные, живые. Взгляд, казалось, ни на чем и не сосредотачивается. И смотрит так, будто сквозь человека, куда-то вверх, вдаль.

Он разулыбался мне, познакомились. Он цепко и твердо схватил мою руку, тряхнул с силой.

— Ну, как вы тут? — мимоходом спросил Риту.

— Да вот, об искусстве с папой рассуждаем, — усмехнулась она.

— Еще кто бы мог определить, что такое искусство, — сказал я.

— Искусство — это все! — живо вошел в разговор Стас. — В искусстве возможно все! В жизни — невозможно. Нельзя на Луне пожить или влюбиться в марсианина. А в искусстве — можно... — Стас говорил быстро, немного даже взახлеб, при этом он смотрел мимо собеседника. Стас был как будто все еще на репетиции, и я перед ним — актер, которого Стас собирается обратить в свою веру. — Дураки от искусства придумали запреты, ограничения. Я думаю, Шекспир был бы только рад, что его делают современным. Что Ромео — это рокер, а Джульетта может без ума влюбиться и в свою служанку.

Рита улыбнулась. Я ухмыльнулся.

По ходу блистательного монолога будущего зятя, с которым мы были почти ровесниками, я подумал: «В искусстве возможно все? Эх, спустить бы с вас, деятелей современного искусства, пошляков и шарлатанов, штаны да выпороть хорошенько на большой площади — вот бы было действие, вот бы было искусство! Шекспиру бы это больше понравилось, чем Ромео в мотоциклетном шлеме и Джульетта-лесбиянка».

Когда Стас говорил, он как будто еще не все и договаривал, кроме слов произносимых, в нем бурлила еще особым фонтаном фантазия.

— Никакие традиции, никакое ханжество не остановят новый театр, — тут Стас замер. — Это очень правильно! — воскликнул вдруг он, вскочил и куда-то быстро пошел, крикнул нам на ходу: — Надо предупредить завпоста...

— Ты не удивляйся, пап, это люди искусства. Он что-нибудь вспомнил или придумал... На него часто после репетиций вдохновение находит. Мы с Ритой выпили еще по чашке кофе, но Стас так больше и не появился.

— У нас сегодня спектакля нет, — сказала Рита. — Но после перерыва будет вечерняя репетиция. Я освобожусь...

— Не беспокойся. Я приду к тебе домой. Вечером. Там поговорим. Посидим, чаю попьем. А завтра я улетаю.

— Чем ты сейчас займешься?

— К Олегу зайду, земляку. Помнишь такого? Он к нам в гости приезжал. Мы с ним вместе учились.

Я вышел из театра. Но театр еще некоторое время меня не отпускал... Я не знал доподлинно историю театра не только мирового, но и русского.

И если к живописи я имел касательство и знал даже фразу из письма Пикассо своему другу, которому он признавался, что, мол, я-то понимаю, что то, что я рисую, не является искусством, но богачи покупают... А вот про театр я подобного не знал. Сам по себе театр казался мне каким-то вымученным занятием, несозидательным. А уж если из театра убрать просветительскую миссию, то он и вовсе станет сборищем тщеславных людей, которые не очень-то любят работать, ведь лицедейство и кривляние никогда у русского народа не поощрялось. Конечно, я так думал, потому что переживал за Риту. Мне хотелось верить, что она попала не в какой-нибудь бедлам с сумасшедшим режиссером, а в храм искусства, святилище, где не допустят издевательств над шекспировскими героями.

Олег ждал меня с нетерпением. Ему, наверное, не терпелось выпить, вот и ждал.

— Шел сейчас по Москве, — рассказывал я ему, — много замечательных зданий, решений оригинальных. Но иногда такая чушь! Застройка точечная — ни к селу, ни к городу. На Цветном бульваре, у Трубной — нелепые стеклянные уродины, кубы какие-то, на дома не похожие... Дочка говорит, что в Москве сейчас правит креативный класс.

— Она заблуждается. Правит, старик, в Москве чиновник... — Олег смолоду называл друзей и приятелей «стариками», в этом было что-то интеллигентское от шестидесятников, и для Олега в этом был шарм. — На том же Цветном бульваре за последние десяток лет три раза, — он поднял палец вверх, настораживая, — три раза меняли покрытие, скамейки, деревья... Представляешь, какие миллионы зарыты в землю, вернее — в карманы чиновников... — Олег говорил и попутно накрывал на стол. Семья у него была на даче. А он дачу не любил: «На даче надо что-то все время строить, работать, а я и так все время на стройках». Был он высок, толст, головаст и красиво улыбался. В студенчестве он как-то легко, без напряжения мог сойтись с любой девушкой. Другой мучается, втихомолку любит, не знает, как подойти к избраннице, что сказать, а Олег широко улыбнется — и все, лучший друг, а уж интим — по желанию с его стороны...

— Правит чиновник. Расцветает офисный планктон, без роду, без племени... А креативщики — это выскочки и прохвосты! Индивидуализм и рисовка... Мы, старик, за них с тобой пить не будем. А мы выпьем за нас с тобой, и за тех, кто нам дорог.

Вскоре к нам подключился Павел Сидорок. Это сосед, приятель Олегов, я с ним был шапочно знаком: однажды так же, втроем, сидели, выпивали за встречу в мой приезд в Москву. Причем, когда выпивали тогда, лет пять назад, мне запомнилось, что Павел с Олегом постоянно о чем-то спорили; москвичам — их хлебом не корми — дай поговорить о президенте, об олигархах, о Рублевке; видимо, близость местожительства к Кремлю вольно или невольно понуждала к сплетням, к какому-то анализу текущего момента. И если тогда Олег с Павлом распинались о московском мэре, то сейчас на повестку дня сам собой выплыл Крым, к тому ж Павел был родом с Украины. Здесь, в Москве, кажется, воздух был наэлектризован этой темой. И двое товарищей, хохол да москаль, сошлись на животрепещущем. Ждать спора не пришлось. Выпив совместно по чарке, Павел уточнил мой маршрут:

— Ты куда на юг? В какой санаторий едешь?

— Санаторий я еще не выбрал, куда-нибудь к Мацесте, в Сочи. Но поначалу я в Одессу лечу, в гости.

— О! — воскликнул Павел. — К нам! Я ж с-под Николаева родом.

— Чего ты окаешь? — усмехнулся язвительно Олег. — Скоро и Одесса будет наша! И твой Николаев!

И тут же перед его носом возникла большая красная дуля Павла:

— Во вам! — Потом он утер губы ладонью и пробухтел: — Вы нам и Крым вернете... Они сами, суки, приползут, когда мы в Европу войдем. — Павел был такой же крупный мужик, как и Олег. Большеголовый, толстошей здоровяк, говорил он с южным «гэканьем».

— В Европу войдете? — Олег издевательски рассмеялся. — Слышь, старик, в Европу они войдут... А не хотели бы вы войти в...

Дальше их разговор превратился в некую смесь разрозненных аргументов, посылов, доказательств, исторических и полуисторических фактов, язвительных и оскорбительных реплик. В пылу полемики, правда, мы успели поднять еще пару чарок с дежурными тостами, но в целом все слилось в кашу:

— Вы, хохлы, привыкли к халяве! В 1922 году в состав СССР Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы, без Донецка, без Луганска, даже Львова у вас не было. О Крыме и речь молчит... Все это вам досталось потом, благодаря заклатым советским кацапам. На халяву... И Крым вы хотели продать пиндосам. Базы НАТО там разместить. Предатели Севастополя и русской славы!

— Народа такого нет — русские! Москали — это же помесь татар, мордвы и каких-то там угро-финнов... У нас своя история! История Украины! Мы вам, москалям, ватникам, больше не уступим. Все, с майдана — новый отсчет!

— Да на вашем майдане черти собирались. Уголовники, шпана, безработные... Месяцами в палатках квасили... И орали во всю глотку: «Слава Украине!» И где у них слава? В чем?

— Пуцай, что шпана... Они революцию сделали! А ваши большевики — не шпана, что ли, были?

— А Бандера ваш кто? Где он родился? Где жил? Где сдох? Нашли себе вождя... А в общем, вам, хохлам, по Сеньке и шапка.

— Историю мы напишем сами. Без москалей. А то, что будем жить, как в Европе, так вы еще на дерьмо от зависти изойдете.

— Чего ж вы все к нам на заработки претесь?! А историю вы, хохлы, хоть запишитесь, но в музыканты ни хрена вы не годитесь... Жить, как в Европе, вам не дано!

— Это почему?

— А потому... Вот слушай анекдот. Старик, — Олег напряг и мое внимание, которое рассеивалось в пустой, злобной болтовне двух застольных приятелей. — Приходит в Киеве чукча к врачу и говорит: «Доктор, что-то очень много мыслей в моей голове. Думаю часто, вспоминаю. Ты сделай-ка мне мозгов поменьше, чтобы я разными мыслями не мучился». Доктор мужик понятливый: «Сделаем, как скажешь!» Кладет его на операционный стол, делает наркоз, потом операцию. Все чин-чинарем. Проходит время наркоза, доктор будит пациента. Тот просыпается — и говорит: «О! Цэ совсим другое дило!..»

Павел сперва нахмурился, он как будто сперва не врубился в анекдот, а потом весь побагровел, набычился и вдруг вскочил, схватил Олега

за грудки. И тут пошла драка не драка, свалка не свалка, но мощные обнималки, пыхтелки и борцовский рев двух выпивших мужиков.

— Стойте! Хватит! Придурки! — Я разнимал их, как мог, а главное — не хотел, чтобы они стали дубасить друг друга всерьез, по морде — «морда» долго не прощается, может и всю жизнь не проститься; я старался их подстраховать, чтоб не пробили свои большие башки об углы, а таковых на кухне всегда предостаточно.

Наконец, они в какой-то момент оба ослабли, и мне удалось разорвать их связку. Павел грохнулся на угловую скамью, а пыхтящий, как паровоз, Олег шмякнулся на стул.

— Все, мужики, расходимся. Все, атас! Других вариантов нет! Вот вам по стопке водки, и все, — заявил я. Больше мой глас был обращен к Павлу: — Паша, иди с Богом. Не надо обострять...

Павел оттолкнул мою руку с протянутой рюмкой водки, резко встал, вышел из кухни в коридор. Уходя, крикнул нам с угрозой:

— Хрен вам, москалям!

— Чего-о?! — завопил было Олег.

Но я его осадил:

— Все! Спектакль окончен.

Я и сам тут же собрался и ушел. Олег пытался было меня удерживать, стал что-то объяснять про ситуацию на Украине.

— Политика мне не интересна, — мягко отнекивался я от дальнейшего гостеприимства.

У меня было еще время до встречи с дочкой, и я решил пройтись по центру столицы, поглазеть.

Город даже в эту теплую весеннюю погоду, в чистоте и убранстве к праздникам, казался мне каким-то расхристанным, не цельным, разорванным на куски. Даже не внешне казался таким, а внутренне — по жизни будто бы. Внешне Москва, пусть и не везде гармонично, но блестела витринами, бамперами и боками дорогих авто, глянец дорогих гостиниц и фундаментальными постройками старинных мастеров, а внутренне в Москве не чувствовалось гармонии. И то, что на митинге я увидел людей вне класса, вне национальности, и то, что несли мои товарищи, москаль Олег и хохол Павел, меня не удивляло, — это и было фрагментами той душевной тревоги, которую вселяла Москва. Чувство это попутно вызывало какую-то обиду: ведь это моя страна, моя родина, моя столица, здесь у меня дочка, и она вынуждена жить здесь, где нет единства и гармонии, и справедливости нет, о которой мы мечтаем.

Раньше Москва мне не навевала такие мысли. Ладно! Стоп! Довольно меланхолии!

Уже темнело, Москва нарядилась разноцветными огнями, пышущей рекламой, когда я добрался к дочке. Она жила на окраине в однокомнатной, небольшой и уютной квартирке. Я был счастлив, а еще более была счастлива Рита, когда купил ей эту квартиру после окончания театрального института. Взял кредит и купил. Пусть у нее будет свой угол в Москве, прописка. Это очень важно, если ты собрался в столицу. Без собственного жилья ты всегда в Москве будешь как на вокзале.

Рита, уставшая, задумчивая, сидела на кровати, я — на диване, где она мне постелила. Она расспрашивала меня про мать, про Толика. Словом, говорили о семейных делах, вспоминали родственников, но пока не

трогали самое очевидное — будущее замужество Риты. Ясно, что я не одобрял этого замужества, но и отговаривать дочь не имел права. Выключили свет. Так и легли спать, не обсудив главного. Но мы не спали. Я ворочался, вздыхал, да и в темноте, оказалось, проще было поговорить о чем-то остром, болезненно ноющем... Я говорил про себя дочке: он же сумасшедший, твой Стас. Его сразу видать. Ваш брак долго не продержится. А если ты родишь от него, и он тебя бросит, — а этот вертиголова тебя непременно бросит! — тогда как ты здесь? Одна? Ведь возвращаться домой тоже не захочешь... Ах, Рита, Рита!

За окном дул ветер, качались деревья. Слышно было, как они, еще почти безлистые, шумят, тревожат чью-то душу. И, наконец, я хотел спросить Риту о будущем. Но она заговорила сама:

— Я все, пап, понимаю, — она словно слышала мои опасения. — Стас, конечно, слишком оригинальный... Но с волками жить — по-волчьи выть. Он сейчас на плаву, востребован. Он сейчас тот самый креативный класс, а они правят в искусстве. В Москве так просто не пробиться. Без связей никуда... Только случай. А я на случай не надеюсь. Деньги... Но деньги нужны большие. Таких нет и не будет... Или муж-режиссер... А муж-режиссер — это для актрисы все. Все эти кланы — Михалковы, Бондарчуки... Что у них, избыток талантов или красоты? А смотри, как свою родню проталкивают, снимают... телевидение, фестивали... Я выбрала себе профессию и хочу тоже пробиться. Признания хочу, успеха! Конечно, мне неприятно играть дур, ругаться на сцене, стриптиз показывать, но сейчас это тренд...

— Ну, ты его хоть немного любишь? — тихо спросил я.

— Немножко люблю. Он же как ребенок, хотя и вдвое старше меня.

— А если родишь...

Она не дала мне договорить:

— Рожать я погожу. Оглядимся пока. На ноги встанем. Вот что мне сейчас нужно!

— А креативный класс — это, мне кажется, новая придумка буржуазии. Фишка, на вашем языке. Сборище разных выскочек и прохиндеев, которые боятся честной конкуренции. Выпендрей, проще говоря.

— Папочка, да я все понимаю, все-все. Но других у нас нет. Во всем мире так же. Стас — дитя своего времени... А лицедейство — это и есть лицедейство. Я не хуже других актрис, чтобы стоять за кулисами. Я на сцене хочу быть! В главной роли.

Я промолчал. Рита чуть позже добавила:

— Ты знай, пап, я твои наказания помню.

Хотя я не помнил, что ей наказывал. Но на душе стало легче. И пусть ветер полощет голые пока ветки деревьев. Скоро они позеленеют, будут шуметь по-другому, не так пронзительно и тревожно.

Я сел на диване.

— Ты спи, Рита. Я немного у окна посижу. Посмотрю на Москву. Я же здесь редко бываю.

Дочка уснула, а я, хоть и устал от путешествий и впечатлений, еще долго не мог уснуть. То в окно глядел, то на дочь. Все хотелось, как в Ритином детстве, подойти к ней, поправить одеяло. Иногда в ее детстве это чувство пробуждало меня среди ночи, и я шел в Ритину комнату, чтобы поправить на ней одеяло — вдруг оно сползло, и дочка мерзнет, лежит клубочком, поджав колени.

«Ах, Ритка, Ритка, а все же лучше было бы, если бы окончила ты экономический факультет и пришла ко мне в контору экономистом!»

В армии у меня было два закадычных друга: Гриша Михальчук из Одессы и Петя Калинин из Ростова-на-Дону. Мы с ними «два года в окопах вшей кормили». По правде-то, ни в каких окопах мы не были, а были на огневых позициях батареи, а вшей я вообще в армии не видел... И Гриша, и Петя были особенными армейскими друзьями, верными. После службы несколько лет мы переписывались, позднее обязательно посылали друг другу открытки ко Дню Советской армии, на Новый год, и в День артиллерии. Лишь с двухтысячных стали звонить друг другу с большими перерывами. Отмотало уже четверть века после нашей разлуки в дембельской армейской форме. Ни с Григорием, ни с Петром мы покуда не встретились, я все надеялся на командировку или попутный маршрут. Но... Но теперь я ехал в Одессу, где прежде не был, а побывать там мечтал давно: город защищал мой дед, и там живет кореш Гриша Михальчук. Но — уж если совсем начистоту — это были только поверхностные, открытые поводы для поездки в Одессу. Под покровом тайны гнало меня в этот город нестерпимое желание повидать одноклассницу Ладу. Это редкое имя меня завораживало, и чем я становился старше, тем больше, жгучее становилось желание распутать клубок первой юношеской любви.

Лада жила уже давно в Одессе: муж у нее был военный моряк, но недавно, на очередной встрече с одноклассниками я узнал от нашей старосты Веры, которая все про всех знала, что муж Лады трагически погиб, что Лада живет с сыном, все хочет навестить родные места, но никак не соберется. У меня в душе что-то забурлило, словно шлагбаум, который претил моему пути, вдруг открылся. «Адресок мне найди Лады, — сказал я Вере, — я собираюсь в Одессу по делам, вдруг и к Ладе заскочу...» Хитрая Вера расплылась в улыбке: «Что, не дает покоя первая любовь?» Я отшутился: «Не первая, а вечная. Бывает у мужиков такая...» — «Ну, ты даешь, Валентин! Мне бы такую! — восхитилась Вера. — Пиши адрес. А телефона я не знаю...»

В школьной юности с Ладой у меня до близости не дошло, неопытен был. Но целовались мы с ней жарко, в охотку, а кроме этого было между нами что-то такое, что не подпадает под понятие обыкновенной любви. Мы оба понимали, что расстанемся, что никогда не будем мужем и женой, никогда не рисовали совместных планов, и в то же время не могли обходиться друг без друга. В общем-то любая юношеская любовь — счастье, даже если она несчастливо заканчивается.

Ладе всегда хотелось куда-то уехать из родных мест, подальше от обыденности, дров, печек и вьюшек, резиновых сапог, ей мечталось о морях, горах, прериях... Она и вышла замуж за моряка и долго жила на Дальнем Востоке, а потом перебралась в теплую Одессу, оттуда родом был ее муж, потомственный морской офицер.

Я Ладу помнил до сих пор. Не только внешность ее — внешность-то помнил безусловно, — но и вместе с тем осязательно ее помнил, будто недавно обнимал: сбита, упругая, быстрая, даже порывистая, любила в свитерах и водолазках ходить. Я даже помнил запах одного из ее толстых полосатых свитеров, он был у нее любимым, и она часто в нем ходила.

Однажды мы сидели с Ладой на берегу реки, на стареньком причале. Сумерки. Может, днем она и не решилась бы, а в сумерках решилась: она прочитала мне свои стихи. О белой птице, одну строфу я даже сейчас приблизительно помнил:

И я люблю ее полет,
Высокий, песенный и белокрылый.
Она растопит даже лед
Безумным криком: «Милый!»

Голос ее дрожал, читала она с трепетом. Я честно не понимал, о какой она читает птице, и, наверное, разочаровал Ладу своей реакцией. Она ждала, может быть, похвалы, восторга, а я сказал, что ничего в стихах не понимаю, и вообще думал, что стихи пишут какие-нибудь бородатые мужики с трубками в зубах, которые шарфом шею обматывают, или старые чернявые тетки, укутанные в белые шали, и все они живут в Москве и Ленинграде.

— Эх, — вздохнула, Лада. — Хороший ты парень, Валька, но с тобой на край света не убежишь...

— А мне там и делать нечего, — ответил тогда я. — Знаю, почему ты бежишь отсюда. Все девчонки из сел уезжают. Кому хочется коров доить да на пьянку мужиков смотреть. У нас тут сама знаешь...

— Знаю! — резко ответила Лада.

Я уж было спохватился: у Лады отец пил запойно и старший брат к рюмке тянулся.

— Да, я уеду отсюда. Не коров и не пьянки я боюсь. Я просто не хочу жизнь прожить серой мышью.

Она так и сказала, я так и запомнил. Она мне читала стихи о белой птице, о высоком полете. Я, наверное, тогда их не понял. Я ведь тоже хотел из села уехать. Но не улететь...

...Ах, Одесса, жемчужина у моря!
Ах, Одесса, ты знала много горя!
Ах, Одесса, любимый милый край!
Живи, моя Одесса! Живи и процветай!

Вспомнилась мне песенка, которую раньше часто лабали музыканты для разгоряченной пляшущей толпы в ресторанах по всей стране. В нынешней Одессе, куда я прилетел из Москвы, было что-то настороженное, смурное, словно она, эта жемчужина, была выставлена на торги, и пока никто не знал, в чьи руки она попадет, кому будет служить. Возможно, жемчужина могла попасть в руки скупердяя, который мог ее заточить куда-нибудь в сундук, или, напротив, могла попасть в руки щедрого барыги, который подарил бы эту жемчужину любимой женщине, чтобы жемчужина сияла у нее в колье на высокой груди; а возможно, могла угодить в лапы просто негодяю, которому было бы все равно, какова истинная ценность этой жемчужины, и который спустил бы ее где-нибудь за бесценок в картежном рауте, проигравшись вдрызг каким-нибудь ушлым шулерам... Я думал сейчас обо всем как-то витиевато, образно, мне хотелось создать для себя благостное настроение и думать о чем-то легком, если даже и свет, и обстановка вокруг была смурноватой.

В аэропорту на таможенном посту меня остановил офицер и с ним — вооруженные люди. Он повертел в руках мой паспорт, спросил:

— Цель приезда?

— Приехал к родне. — И я тут же назвал адрес Григория Михальчука.

— Какую валюту везете в нашу страну?

— Да никакую. Рубли вот поменяю на гривны...

— Рубли — это тоже валюта... Сумма какая?

— Двадцать тысяч... — Наличными у меня было именно столько. Основное — на карточке.

Недовольный офицер больше ничего не спрашивал, недовольно отдал мне паспорт, посмотрел с укоризной: мол, отпускаю за неимением улик. Конечно, было понятно, почему так: Крым оторвался от Украины, а на Донбассе разгорался нешуточный кровавый конфликт. Одесса в стороне не останется, хотя именно Одесса, мне казалось, самый нейтральный и благополучный город Украины, который никому не надо делить. Но я, по видимому, заблуждался: даже в воздухе чувствовались напряженность, взрывоопасность и какое-то затишье, словно перед грозой. Все ждали каких-то перемен.

Водитель такси фыркнул, узнав мимоходом, что я прилетел из Москвы, и замкнулся в себе, хотя поначалу был, казалось, словоохотлив. На улицах было много людей, в основном — молодые, группами; изобилие желто-голубых украинских флагов, трезубцев. Время от времени в открытое окно машины неслись со стороны этих молодых стаяк речевки, выкрики. Особенно — во все горло:

— Слава Украине!

В ответ на это — тоже во все горло:

— Героям слава!

Мне показалось, что они кричат совсем беспричинно.

— Чего они кричат? Зачем? — спросил я у таксиста.

Тот пожал плечами, он, похоже, не хотел разговаривать со мной.

— Наверно, и в Гондурасе кричат: «Слава Гондурасу!» Но Гондурас от этого не становится лучше, — усмехнулся я.

Водитель, мужик уже в годах, утомленный то ли жизнью, то ли рабочей сменой, все же тихо сказал:

— Болельщики это, фанаты футбольные, вот и орут... — Потом он скривился в лице, причем нехорошо скривился, даже чуть издевательски: — Москалям лучше с ними не встречаться.

— Это ты меня предупредил, что ли? — резко спросил я, чтоб пресечь насмешливый тон водилы.

— Мне все равно... — буркнул водитель и прибавил газу.

Я назвал ему адрес Михальчука, но вдруг понял, что совсем не хочу к Михальчуку, и главная моя цель в этом городе — Лада.

— Стоп! Я передумал, — сказал я таксисту. — Поедем по этому адресу, — я прочитал адрес Лады на листочке, а потом зачем-то показал листочек таксисту.

— Это в другую сторону. Там дорога перекрыта из-за этих...

— Объедем. Не бесплатно ведь.

— У меня смена заканчивается...

— Сколько хочешь?

— При СССР жилось лучше, — вдруг ответил таксист. — Все было как-то по-человечьи. Сейчас все деньгами в нос тычут.

— Я не тычу, я плачу.

Таксист привез меня по адресу. Я рассчитался с чаевыми, он слегка повеселел, но напоследок сказал с недоумением:

— Хрень какая-то кругом творится.

Я не совсем понял, о чем он говорит, но его озабоченность к чему-то призывала, как будто он меня предупреждал о чем-то. Впрочем, я не придавал этому значения, меня тянула к себе Лада. Это имя я повторял, как заклинание. Вот дом, войти в который я мечтал десятилетиями... Но как

мне показаться? С неба, мол, свалился. Мальчишество какое-то... А чего финтить?! Вот так просто подняться на нужный этаж этого дома, позвонить в квартиру. Ведь все начальные слова и объяснения давным-давно приготовлены. А если откроет *новый* муж? Ну и что? Лада и я уже не дети. Я приехал издалека. Привез привет от одноклассников и приглашение на вечер-встречу, а сам еду дальше к армейскому другу. Я поднимался по лестнице и еще придумывал какие-то разные оправдания своему появлению, алиби для воображаемого *нового* мужа Лады.

Но до нужной квартиры я не добрался. Мне оставалось несколько ступенек, — и вдруг дверь, которая пленила меня, к которой стремился столько лет, резко, широко открылась. На площадку быстро, запыленно выскочила Лада. Выскочила, дверь за собой закрыла, стала запираеть замок и тут наконец-то увидела меня.

— Бурков?! Валька?! Ты откуда? — спросила она быстро, но таким тоном, как будто видела меня неделю назад; казалось, неделю назад я куда-то далече отъехал, а нынче неожиданно-негаданно нарисовался.

Я недоуменно пожал плечами.

— Да вот. Приехал к вам в город, решил к тебе зайти... Там наша староста Вера просила, чтоб я тебя на вечер встречи... — я в общем-то лепетал чушь. Но Лада, видно, пропустила это мимо сознания.

— Не до того сейчас, Валя. Убегаю я... — сказала она, потом внимательно посмотрела на меня.

— Может, ты мне поможешь? А? — спросила с заискиванием. — Сына мне нужно найти. Он сейчас там, на «Куликовом поле». Он позвонил. А потом разговор оборвался. И все, молчит...

— Ну, конечно, помогу, — ответил я.

— Тогда оставь вещи и пойдем со мной.

Сейчас я не понимал, радоваться такому обороту или нет. Все вышло вроде бы как никуда лучше: Лада приняла меня как родного, близкого; вот она, совсем рядом, даже обнять ее можно, но вместе с тем я для нее кто-то другой, не тот влюбленный одноклассник из школьной жизни; ведь ей даже не интересно, как я тут оказался, зачем? Я враз стал ей нужен для чего-то совсем другого, не для личных отношений.

Мы с Ладой торопливо шли по улице, она говорила мне о сыне, который входит в общество русских патриотов, между делом она кого-то клеймила, называла их «сволочи, хуже фашистов, ублюдки...» Я помалкивал. Догадался, что мы идем на какой-то то ли митинг, то ли сбор, где среди активистов — ее сын Илья.

Ветер принес горький запах дыма. Похоже, где-то подожгли автомобильную крышку. Черный, злоеющий столп дыма поднялся над крышами, над красиво распустившимися каштанами. Но вместе с крышковой горело что-то еще, дым поднимался и из других мест.

— Там палатки. Там палатки протестующих, — говорила Лада.

— Палатки горят как порох. Это слабое укрытие... Они вооружены? — спросил я.

— Нет. Откуда? Они же мирное движение. Не эти бандеровцы...

Впереди стояли молодые люди с флагами украинской повстанческой армии и флагами Украины. Группы людей стали попадаться все чаще. А вскоре больше появилось и клубов черного дыма. Жгли уже не одну автокрышку. Этот черный дым все видели по телевидению в центре Киева, где бунтовщики или повстанцы лихо наловчились менять власть.

Чужество обыкновенного самосохранения, а скорее — даже чуждость и

равнодушные ко всякому политическому в украинской заварухе сдерживали меня; мне хотелось схватить Ладу за плечо, остановить, сказать: «Не лезь! От тебя тут ничего не зависит!» — а еще хотелось притянуть Ладу к себе, посмотреть ей в глаза и сказать напрямую: «Лада, я приехал на тебя посмотреть, я давно-давно мечтал об этом. А на все майданы-замайданы мне наплевать!» Но я не мог поступить так: где-то в центре этой чертовщины, этой заварухи находился ее сын Илья, и теперь уже его судьба выстраивала мои шаги, мои слова и поведение.

В некоторые минуты мне казалось, что между мной и Ладой ничего не изменилось. Конечно, Лада сама внешне изменилась, стала острее, жестче, старше, в ней появилась нетерпеливость и нетерпимость, что ли, и даже жесткость, но она была будто бы своей, словно перешагнула из прошлого в настоящее, и мы спешим с ней после школы в наш сельский клуб на итальянское кино, чтобы занять лучшие места в зале...

Площадь, куда мы стремились, оказалась за кордонами милиции, плотным кольцом зевак и бунтующих молодых людей с повязками на рукавах, некоторые из них были с желто-голубыми флагами Украины. В их лицах таился какой-то лютый восторг, словно бы шла заслуженная расправа, упоительный кураж наказания за содеянное... Кто-то из них, казалось, абсолютно ни с того ни с сего выкрикивал во всю глотку: «Слава Украине!» Окружающая толпа в единомысленном полуистерическом порыве одуревше орала: «Героям слава!»

Мне всегда мечталось побывать в Одессе, в городе славы, в городе юмора, оригинальных евреев, в южном портовом городе, где много белого цвета, где погиб мой дед-морьяк. Теперь я здесь был, в самом начале мая, когда уже было тепло, когда цвели каштаны, когда ветер нес с моря мягкий солоновато-йодистый вкус... Но теперь Одесса, утопающая в белом цвете каштанов, казалась городом нервнобольным, взбудораженным; она утратила привлекательность и обаяние... Злобные, расхристанные молодчики, стяги с бандеровскими символами, балаклавы и медицинские маски на лицах... И чем ближе к площади «Куликово поле», тем эта толпа становилась плотнее, агрессивнее, взвинченнее, над ней висели матерная брань и постоянный ор: «Слава Украине — Героям слава!»

По дороге Лада не раз пыталась дозвониться до сына, но тот не отвечал. Это взвинчивало ее, она что-то шептала на ходу, кого-то ругала. В душе у нее, видать, что-то трепетало, возмущалось, болело. Что-то несусветное происходило и вокруг.

Я видел, как молодые парни и девушки разбирают плитку тротуара. Так и вспомнилось: «булыжник — оружие пролетариата», но здесь были не пролетарии, и это казалось бы полной дикостью, но такое уже случалось на улицах Киева. Все сопровождалось криками, возгласами, проклятиями и руганью, все обливалось какой-то животной злобой. Молодые люди, с символикой футбольного клуба на футболках, что-то орали, среди них ходили особенные, в балаклавах, они что-то подсказывали, организовывали.

Я слышал, как один из них кричал:

— Не трогайте милицию! Никаких камней! Не трогать! Не кидать! Нас пропускают...

Впереди где-то вспыхнул файер, потом другой, что-то грохнуло наподобие взрывпакета, а потом в небо с синим хвостом взвилась петарда. Группа молодых людей шла организованной колонной. Они шли целенаправленно и неколебимо. В руках — палки и щиты. По выкрикам

было понятно, что они устремляются туда же, куда мы с Ладой. «На Куликово!»

Их колонну сопровождали выкрики:

— Смерть врагам!

— Слава Украине!

— Москаляку на гиляку!

И злобный хохот.

Улицы возле площади, на которой стоял дом с колоннами, казалось, шипели, гудели и изрыгали ненависть... А главное и неожиданное: все это снимали на телефоны, мини-камеры и на профессиональные камеры зевачи, люди заинтересованные, журналисты разных каналов. Тут начиналось какое-то бесовское действо. Но, видимо, Украина, по примеру стольного Киева, уже привыкла к этому, и в этом был революционный наркотический выплеск — выплеск гормонов воинственных внутренних сил. Милиция придавала, казалось, шествиям молодых людей некую упорядоченность, но на самом деле своим бездействием только подстрекала, распалила злость толпы.

На крыльце дома с колоннами стояли оцетинившиеся люди, они окружили себя рыхлой хиленькой баррикадой, а на самой площади догорали палатки, какой-то хлам, мусор, лозунги, российский флаг; под ногами была и испачканная тряпичная растяжка «Одесса — город-герой». Дым, всплески огня, крики, взрывы петард и ликующая, а вернее — оскалившаяся толпа оцепила дом с колоннами.

И эта толпа, взведенная и уже подпитанная разгромом и пожаром на площади, с цепями и битами в руках через остовы палаток, мусор, коробки, ящики, деревянные поддоны стремилась к тем, кто огрызался с крыльца дома с колоннами. Но их, затертых со всех сторон с площади на крыльцо, к центральному входу дома, было немного, вернее, большинство уже пряталось в доме с колоннами, а после того, как на крыльцо полетели не только камни, но бутылки и стали раздаваться взрывы «моловских коктейлей», с крыльца и вовсе исчезли разрозненные группки оборонявшихся, и двустворчатые двери дома с колоннами затворились.

— Он там! Илья там! — выкрикнула Лада.

— Ты его видела?

— Нет! Но я знаю, что он там! Он с ними! — Она не хотела и не могла слышать голос разума, она рвалась к своему сыну, ничего не пытаясь анализировать и предпринимать, кроме единственного — пробиваться в дом, где сын. — Пойдем! Пойдем быстрее! Я знаю, где пройти! — Лада схватила меня за руку, поволокла, умело обходя группки зевач, молодых националистов, фанатов, она даже ловко просочилась и провела меня в разрыв милицейского кордона, правда, тот был каким-то совсем анемичным.

Когда мы подбежали, вернее, протолкались к торцевому входу дома с колоннами, я заметил, что толпа на площади стала активнее: все больше и больше камней, бутылок летело в окна дома. Оттуда кто-то и что-то пытался кинуть в ответ в толпу, но — больше для острстки. Раздались и выстрелы. Со стороны парадного крыльца уже валил дым.

Возле подъезда, где мы оказались, толпились гражданские люди, милиция, несколько медиков, неподалеку стояла «скорая» с включенным маячком. На земле лежал парень, голова у него была в крови, его перевязывала врач, остальные озирались, что-то сумбурно выкрикивали. Лада, видимо, знала и этот дом, и этот подъезд, она что-то сказала милиционеру, который тут стоял с несколькими подчиненными в спец-

жилетах и с оружием, а потом, взяв меня за локоть, потянула за собой; мы быстро прошмыгнули к двери, а потом и за дверь, человек, который тут стоял, наверное, охранник, ничего не возразил, потому что Лада выкрикнула ему в ухо:

— Я здесь работаю! Там у меня важные документы!

Лада и в юности была находчива, в карман за словом не лезла, и тут сыграл ее талант, больше на нас никто не успел среагировать; мы оказались в коридоре первого этажа дома.

Здесь уже чувствовался запах дыма, гари и еще чего-то ядовитого. Так обычно горит некачественный пластик, панели или декор, и дым от них бывает всегда черным, едучим. В этот момент мне почему-то вспомнился пермский пожар в «Хромой лошади», где сгорели и задохнулись больше полутора сотен молодых безвинных людей. На какой-то момент я замер, то ли вышняя сила задержала меня, то ли обыкновенное чувство самосохранения. «Зачем, куда ты лезешь? Тебе не надо туда!» — просквозило в сознании. Но рядом со мной была Лада, ради которой я и появился здесь. Оставить, бросить ее здесь — это немыслимо!

— Чего ты собираешься делать?

— Найти сына! — дерзко выкрикнула мне Лада.

— Дом могут поджечь. Его уже подожгли. Мы все окажемся в ловушке!

— Я должна найти Илью!

В коридоре Лада пыталась открывать двери, все подряд, яростно дергала за ручки, но они почти все были заперты.

— Стой, Лада! погоди! А вдруг твоего сына нет в здании? Мы не сможем обойти все комнаты!

Я понимал, что идти туда, где разгорается пожар, не надо. Надо убежать от пожара. Но Лада маниакально стремилась в самое пекло. И у нее был железный посыл: там мой сын!

И все же одна дверь оказалась открыта, там было двое парней. Но разглядеть или что-то спросить их мы не успели: внезапно раздался хрусткий грохот разбитого стекла, чем-то вроде кирпича саданули по нему с улицы, а следом в пробоину влетела бутылка с зажженным фитилем у горлышка. Бутылка врезалась в стену, лопнула, взорвалась, огненный шар обдал комнату, всех опалило пламенем и жаром, и мы все с криком бросились прочь от огня в коридор. И уже в коридоре волосы на голове Лады вспыхнули. Она закричала громко, дико, стала будто бы отбиваться от огня, но на ней загорелась и кофточка, видно, зажигательная смесь попала повсюду. Лада просто начинала гореть, вспыхивая в разных местах, куда долетели брызги горячего.

На счастье, на мне была ветровка из плотной ткани, я скинул ветровку, обхватил ею голову Лады, сам прижался к ней, заглушая огонь, который едва не превратил ее в свечу.

Когда я сбил огонь с ее одежды, скинул с ее головы ветровку, Лада, ошалевшая, онемевшая, враз изменившаяся, с черными пятнами на лице и на обожженной голове, стояла передо мной, словно контуженная, надсадно дышала открытым ртом; у нее, скорее всего, были обожжены дыхательные пути, а от головы пахло паленым, бровей тоже не было видно, лишь две черные обожженные полоски смутно проступали в полусумраке коридора, освещенного языками пламени из горящего кабинета.

— Илья! — прошептала Лада. Говорить, похоже, она не могла — только шепотом.

— Возвращайся! — приказал я. — Возвращайся тем же путем! По коридору! Назад! Бегом! К врачам! Я найду твоего Илью! Беги! — Я толкнул ее в спину, чтобы она поняла наконец-то, что надо спастись ей самой, никому другому она не поможет.

Я пронаблюдал, как она, совсем потерянная, пошатываясь, пошла по коридору, потом даже побежала, потом остановилась, потом от моего крика: «Беги, Лада! Беги! Беги!» — она опять побежала. Я увидел и прогнал в двери: ее выпустили из дома с колоннами. Все! Значит, она спасена!

Теперь — спокойно. Здесь должны быть огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы, черный ход. Но почему нет пожарных?! Где они? Это центр города! Где пожарные машины, черт возьми!

Запах гари уже распространялся повсюду, дым ел глаза. Я услышал выстрелы; что-то где-то во внутренних частях дома взорвалось: опять, видно, кто-то кидал в окна бутылки с зажигательной смесью. И еще — крик. Когда я поднялся на второй этаж, а потом и на третий, когда выбрался на крышу, крик раздавался все время с разных концов здания, а еще повсюду стоял шум, ровный, не стихающий, с треском и иногда с шуршанием, — это был шум пожара. Люди кричали в ужасе, предсмертно, крик иногда был летящий, значит, кто-то кричал, падая или прыгая из окна или с крыши. А с площади неслось какое-то гавканье и улюлюканье толпы. Взрывались петарды, разносились истошные вопли восторга и самозабвенного ликования.

Везде, где я был, спрашивал каждого встречного: «Илья Коробов! Не видели?» В ответ: «Нет, не видели. Не знаем». Время от времени я выкрикивал среди коридора или на лестнице: «Илья Коробов, ты где? Откликнись! Илья Коробов!» На крыше его тоже не было. О нем никто не знал. Только один парень пожал плечами: «Вроде видел его, но вроде еще на площади...»

Пожар тем временем набирал силу: все больше комнат, кабинетов охватывал огонь, горел и центр здания, все, что было вокруг парадного подъезда и лестницы.

Если горят нижние этажи, то люди, естественно, бегут вверх. Дом каменный, можно, конечно, спастись, если приедут вовремя пожарные... Но их нет! Даже воя сирены не слышно. В коридорах стали попадаться обожженные люди: куда-то плелась пожилая пара; девушка, схватившись за живот, передвигалась вдоль стены, парень, очумевший, бормотал: «Туда нельзя, там все горит!» — и полз на четвереньках. Дым все больше наполнялся какой-то кислотой — горел, видать, совсем дрянной пластик или из дрянных материалов мебель.

Я не видел самолично и не мог видеть, но догадывался, что некоторые выпрыгивают из окон, отсеченные пожаром в коридоре от лестниц, заблокированные на этажах в помещениях. Подступала минута, когда нужно было самому думать о спасении. Рвать когти...

Заглядывая в разные помещения, я все чаще стал наткнуться на мертвых, от угарного газа, от дыма, от открытого огня, возможно, от выстрелов, — я все больше оказывался в перевернутом мире: здесь был не только огонь, дым, хаос, здесь шла война; те, кто на улице, умерщвляли тех, кто был в здании, и делали это под восторженную матерную брань, вопли и издевательские лозунги: «Слава Украине!»

Где пожарные? Где менты? Они что, совсем здесь, в Одессе, осата-нели?!

Отчаянные крики раздавались и от осажденных в доме с колоннами:

- Пойдемте наверх — внизу все в огне.
- Сверху спрыгивать — слишком высоко...
- Где эти суки, пожарные?!
- Стреляют! Опять стреляют по окнам...
- Надо все-таки пробиваться через низ.
- Все подожгли, бандеровцы. Сволота!
- Там внизу нас перестреляют.
- Но я им так не сдамся...
- Отсюда надо сперва выбраться, а потом уже сводить счеты с врагами...

Внутри здания дышать и в самом деле становилось невозможно, но и у открытых окон, на карнизах было также опасно: люди там становились мишенями.

— Эй, сюда! Помогите! — вопили из окон, а в ответ с площади им кричали оскорбления и кидали в них камнями.

Осажденных загоняли в какой-то бесовский тупик.

— Почему нет пожарных?

— Потому что нас здесь хотят сжечь... Это же фашисты!

«Сгореть от каких-то бандеровцев — невеселая перспектива для человека, который приехал на отдых и мечтал повидать свою первую любовь, и даже строил какие-то планы», — думал я. Но больше думал о том, как пробиться обратно к торцовому выходу или черному ходу, или к пожарной лестнице — ведь она должна быть! От окружающих я помощи не ждал, в их лицах я читал в основном растерянность и даже обреченность. Они не знали, как действовать, что делать, кто-то из них пытался звонить, кто-то кричал, кого-то умолял, но все это только приближало жестокий финал.

Э-э, нет! Не сдадимся! Выход точно есть! Где-то есть! Нестерпимая сила действовать, сопротивляться обстоятельствам пробудилась во мне, когда я с ужасом увидел, как молодой парень, который сидел, сгорбясь, в углу на стуле в коридоре, вдруг повалился на пол, ударился головой об пол и вскоре умер, он просто умер, он, наверное, уже отравился дымом, и возможно, у него было слабое сердце; он умер.

Я высунулся в окно, наскоро осмотрелся, увидел, что к дому подъезжает пожарная машина с раскладной лестницей на крыше. Все-таки пожарные появились. Надо пробиваться туда. Набрал побольше воздуха в легкие — и бегом по коридору, в сторону, где была машина. Но до спасительной лестницы я сразу не добрался. По дороге в сумраке я столкнулся с парнем, он был отравлен дымом, он, похоже, умирал, и я не мог его бросить, я схватил его за шиворот и потащил с собой.

Под окнами, куда мы кое-как приволоклись, стояла пожарная машина с поднятой лестницей, и снизу уже пожарный бил из шланга струей воды по горящим окнам. Я крикнул, что было сил:

— Сюда! Лестницу дайте! Сюда!

Вскоре спасительная струя воды пожарного гидранта ударила в окно, рассыпались брызги, сквозь дым и пар появился шанс на спасение.

— Сюда! Сюда! Парня вытащите!

Парня удалось спасти. Правда, я совсем его не запомнил. У него были черные печальные глаза, взгляд совсем отсутствующий. Парень ничего не мог сказать. Но он выжил, явно выжил. Его спустили пожарные. Потом — еще девушку. Потом к нашему окну подбежали женщина и пожилой мужчина.

Самому же мне пришлось еще попутешествовать по дому с колоннами. Мне надо было выбраться через торцевой ход, найти Ладу — вдруг она еще там. Да и возле пожарных стоял кордон милиции, а мне не хотелось оказаться в их лапах. Дом стали тушить, и я понадеялся, что уйду тихо, незаметно, не попав в руки одесских хреновых правоохранителей...

Наконец-то я отыскал черный ход. Но именно с черного хода в здание шли и пожарные, и спасатели, и милиционеры, и мародеры, и сами поджигатели. Мне навстречу на лестнице попались двое мужчин в камуфляже.

— Где выйти? — хрипло спросил я, держась за горло, — дыма и гари я все-таки наглотался.

— Иди вниз и направо! По коридору до конца!

Я спустился на первый этаж, прошел по коридору, куда указали, и вдруг замер перед открытой комнатой: в комнате, обожженной до черноты изнутри, и уже потушенной, сырой, с лужами посередине, в копоти находились три обгорелых трупа, похоже, двое парней и девушка. Они замерли в нелепых позах: девушка на стуле, запрокинув обгорелую голову без волос, один парень лежал на полу, раскинув руки, а другой сжавшись в углу, калачиком, — все черные, неестественно черные, как головешки, словно их опалили из огнемета.

Вскоре возле меня в коридоре появилась троица горластых парней, они были в повязках на лицах, в руках у них были фонарики и палки. Я сразу почувствовал от них ток агрессии. Они говорили:

— Во! Гляди! И здесь негры лежат!

— Башка, как уголь.

— Так им и надо!

И тут они разом, совсем не к месту рывкнули:

— Слава Украине!

Это было как пароль, как символ, как знак слитности или признак духовного единокровия, который их спланивал даже в самых преступных проявлениях. Говорили они по-русски, чисто, даже не смягчая по-украински «г».

— Ты кто? — рыкнул один из них, глядя на меня в упор.

Я не стал объяснять, показал на горло, тихо промычал.

— Говорить, что ли, не можешь?

Я кивнул головой.

И тут один из них заорал, с матюками:

— Вали отсюда, пока ноги не вырвали!

Я выбрался на улицу, вздохнул полной грудью, хотел куда-нибудь улизнуть от милиции. Но ближний ко мне милиционер в бронежилете цепко схватил меня за руку, даже взял ее на излом:

— Оружие есть? — выкрикнул он.

— Да какое оружие? — ответил я, брыкаясь и пытаюсь высвободиться. — Я здесь случайно.

— Разберем. Обыщи его, — приказал он другому милиционеру. — Веди в машину.

Милиционер быстро, грубо обшарил меня, толкнул вперед к машине, которая находилась несколько в отдалении. Тут-то я и оказался в коридоре из людской толпы. Это были те самые головорезы, которые и спалили дом с колоннами. Они кричали на меня злобно или веселяще злобно:

— Вот еще одного гада поймали!

— На колени! — взвыл кто-то сбоку.

— Оставьте его! Пропустите! — осадил сопровождающий милиционер. Но с ним никто не посчитался, толпа отделила его от меня, да и он сам как будто хотел меня отдать толпе на растерзание.

— На колени! — заорали со всех сторон.

Я никогда ни перед кем не вставал на колени, и в этот момент мне почему-то вспомнился стихок, который заучил еще в армии: «Мы русские! И пусть навек запомнит враг, / Что лишь тогда встаем мы на колени, / Когда целуем русский флаг...» На колени вставать перед этими выродками я не собирался. Но несколько пар рук вцепились в меня, стали валить на землю, а один — я хорошо запомнил его: белобрысый, волосы ежиком, в полосатой футболке из синих и желтых полосок — подскочил ко мне с диким оскалом и врзал коротким ударом палки по ноге, по колену.

«Я найду тебя и убью!» — промелькнуло у меня в мозгу, когда я упал на землю и скорчился от боли в колене.

— Теперь ползи!

— Коридор позора!

— Ползи, сволочь!

Они пинали меня, оскорбляли, кто-то плевал на меня, но я, как закливание, повторял про себя: «Я найду тебя и убью!»

Скоро, однако, меня и пойманных, и спасенных горемык-счастливецев из сожженного дома с колоннами привезли в отделение милиции. У меня забрали документы. Принимавший меня капитан ехидно-радостно воскликнул:

— Во, гляньте-ка, у нас кацап! Шпиен? Ты шо здесь делаешь, хад?

— У меня дед в войну Одессу защищал, — ответил я.

— Замолкни! Лучше бы не защищал... В камеру!

15

Утром, проснувшись на нарах в одесском СИЗО, я попытался оценить всю нелепость ситуации: обожженная Лада, мои травмы, ушибы, ожоги, горячий дом с колоннами, негодяй в сине-желтой полосатой футболке, ударивший меня по ноге, пинки, плевки — за что все это? Ведь я им ничего не сделал. А за что эти сволочи сожгли невинных людей? Что это было? Запах дыма, гари все еще был со мной, в одежде, он пропитал все, и почему-то не истлела за ночь мысль: найти и отомстить тому подонку, который подло свалил меня с ног. За что мне такое?! Ведь это родина и моих предков!

А утро было солнечным, ласковым. В камеру из форточки врвался свежий воздух, виднелось синее небо. «Жив! И радуйся!» — утешал окружающий мир.

В камере я старался ни с кем не общаться. Слышал разговоры, опасливые, полупшепотом, словно здесь среди десятка человек затесался доносчик.

— Говорят, больше сотни сгорело.

— Виноватых не найдут. Вот увидишь. Не найдут. И никого не посадят.

— Это «правосеки» и бандеровцы. Они уже все смотались из Одессы... Их для того и привозили сюда.

— Вон и на майдане никто не знает, кто стрелял, как убили. «Святая сотня» — и все тут, концы в воду.

— А из «Беркута» сколько положили?!

Я с ужасом думал: что же творится на бедной Украине? Чего им не живется? Климат отличный, море, территория огромная, но при этом промышленность, центры советской науки — все в прах. Ради чего?

На допрос из камеры меня вызвали первым. Возможно, потому что у меня было российское гражданство, возможно, потому что кто-то хотел покуражиться над москалем или поймать лазутчика, поскорее огласить имя провокатора и шпиона. Я решил, что буду говорить правду. Правда всегда человека спасает!

Однако услышав несколько слов от упитанного гэкающего майора и злобно хмыкающего следователя в штатском, я понял, что никакой правды им не нужно, они ее недостойны.

— С какой целью прибыли в Одессу? Почему оказались среди сепаратистов? Зачем подожгли здание? Кто вас направил на подрывную работу? — в таком ключе они повели разговор, и я не стал им рассказывать о Ладе и цели моего появления в доме с колоннами.

Я стал отвечать коротко, четко и абсолютно спокойно:

— Я приехал сюда повидать армейского друга. В гости. В здании оказался случайно. Толпа стала кидать камнями — нужно было где-то спрятаться. Я побежал вслед за пожилым человеком... Меня никто не направлял на подрывную работу. Я строитель...

Следователь, закидывая челку набок, что-то писал и с иронией кивал головой, хмыкал.

— Слышь, москаль, — вдруг язвительно спросил майор, — на кой хрен ты сюда приехал? Мы без вас тут разберемся, с кем нам быть и как нам жить. Крыма вам мало? Сюда приперлись воду мутить?

Тут я тоже впрямую, глядя в глаза майору, ответил:

— Мутить я тут ничего не собираюсь. Одессу защищал мой дед, погиб... Я должен был здесь побывать.

Тут слегка оживился следователь:

— Ты ж говорил, что к другу ехал. Как его звать? Адрес?

— Это Григорий Михальчук. Он живет по адресу...

— Кто? — взвеселился майор; они многозначительно переглянулись со следователем.

— К Михальчуку, значит?

Майор взялся за свой телефон, потыкал кнопки.

— Гриша? Ха! Здорово! Знаешь ли ты, Гриша, что являешься пособником сепаратистов? Ха! Гриша, какие шутки! Серьезно! У нас все серьезно! — Майор открыл мой паспорт и по нему прочитал: — Знаком ли тебе Валентин Андреевич Бурков? Ха! Ждешь его? Он сидит у меня! Обвиняется в шпионаже и пособничестве сепаратистам. Статья тяжелая, намного потянет...

У Михальчука был автосалон в Одессе, и многие из ментов его, вероятно, знали. Менты к машинам всегда испытывали страсть, и Михальчук оказался для них фигурой известной. Это было для меня спасением, хотя я сразу догадался: менты захотят поживиться, набить цену, вдоволь поиздеваются.

Мы встретились с Михальчуком в комнатухе, где никого не было. Григорий встал со стула, подошел ко мне, я собирался обнять его, но он был возбужден, очень чем-то озабочен и только протянул мне руку для приветствия.

— Здорово, Валя! Деньги-то у тебя есть? — первое, что он спросил у

меня, спросил так, будто мы с ним расстались неделю назад. — Ты, Валя, влип. По уши...

— Что значит влип? Гриш, ты-то чего несешь?

— А то и несу... Десять тысяч долларов — тогда отпустят. А если нет, СБУ переправит тебя в Киев, там тебе мало не покажется. — Он произнес это с угрозой.

— А что я такого сделал?

Михальчук нервно и быстро махнул рукой и снова спросил:

— Бабки есть, я тебя спрашиваю?

— Пусть отдадут мне все документы, телефон, бумажник...

— Значит, деньги найдешь? Они дают срок до конца дня. Я поручительство за тебя напишу, если гарантируешь... Ты ведь в строительном бизнесе — не бедняк.

— Я найду эти деньги до конца дня. Пусть меня выпускают!

Михальчук слегка помягчел. Подозревать меня во лжи он не мог. А гарантии... Вряд ли он будет писать гарантию на доставку в милицию денег.

Скоро меня и в самом деле освободили. Майор криво лыбился и говорил:

— Благодарю своего друга. Если б не Гриша... Но помни, тебе даем только сорок восемь часов. Через двое суток чтоб духу твоего здесь не было! Ясно?

— Ясно, ясно, — буркнул я.

Михальчук предложил поехать к нему. Я отказался, сказал, что в гостинице мне будет удобнее.

— Деньги я принесу после обеда. Мне отмыться бы надо. И повидать одного человека...

Тут Михальчук замаялся, он мне не верил: вдруг я смотаюсь, исчезну. Я это понял, почувствовал:

— Пошли в банк. Я сниму с карты все, что есть. Там как раз около десятки...

Михальчук опять помягчел.

— Надо отметить твой приезд, Валя. Пойдем в ресторан.

— Не сейчас.

...Добравшись до гостиничного номера, оставшись один, я стал называть Ладе. Долго никто не отзывался, наконец ответил молодой мужской голос.

— Это ее сын Илья, — представился молодой человек.

— Что с мамой?

— Она в ожоговом отделении. У нее голова обожжена. Руки тоже. Я сейчас у нее, в больнице. Она на перевязке.

— Как ты сам? Ты был в горящем доме?

— Нет. Нас еще раньше оттеснили... Потом — драка...

— Не надо рассказывать. Ты жив-здоров?

— Да... Синяки не в счет. Телефон разбили... Поэтому и не отвечал.

— Я навещу твою маму сегодня вечером. И вечером заберу свои вещи. Будь, пожалуйста, дома, Илья.

Теперь можно было облегченно вздохнуть и подвести первые итоги; ведь что-то подсказывало мне — интуиция! — что нет Ильи в доме с колоннами, так и оказалось. На счастье...

Я позвонил в свою контору бухгалтерше Аллочке. Заговорил самым медовым голосом:

— Положи мне на карту все деньги, которые есть в сейфе. Срочно!

— У тебя проблемы? Что случилось, Валентин Андреевич?

— Аллочка, ничего не случилось! Я хочу купить кое-какие товары для бизнеса. Очень выгодный контракт... Поняла меня? Срочно! Я уже подписал документы.

Денежные вопросы я таким образом закрывал. Рассчитаюсь с ментами и поскорей отсюда, к тому же они отмерили мне сорок восемь часов. Главное — к Ладе. Лада — вот главное, что меня принесло сюда, Лада — вот боль, а теперь и какая-то сумятица в душе.

Вот и побывал я в развеселой Одессе, *жемчужине у моря*.

Светило солнце, но мне казалось, что город стоял в каком-то сумраке, в оторопи, в страхе и недоумении. Живьем спалили десятки людей, беснующая толпа глумилась над городом, издевалась над его героическим прошлым, грозила расправами. Все это выглядело чем-то перевернутым, вздорным, шальным. Стаи молодых националистов, обработанных наркотой «новой истории», страдающие манией гитлеровского прихвостня Бандеры, стали хозяевами города-героя. Чего же вдруг захотели шайки этих отморозков? Какого порядка? Какой государственности? Чего они орут: «Слава Украине!» Ленин слепил им эту Украину. Сталин нарисовал границы. Хрущев дал попользоваться Крымом, который тут же отвернулся от них... Может, я чего-то не понимаю?

Наконец-то я принял душ, надел новую рубашку, купленную в магазине поблизости, выпил кофе в буфете, вызвал такси и поехал на встречу с Михальчуком.

У гостиницы я стал свидетелем сцены почти театральной, но дикой. Стайка молодых людей (эти юные националисты ходили стайками, поодиночке, видно, боялись) разыгрывала спектакль. Несколько девушек из стайки окружили двух парней, по всему виду, русских, вышедших из гостиницы (я видел их у стойки администратора), и принялись донимать:

— Кто не скачет, тот москаль!

Четверка этих молодых стервочек не давала парням проходу, галдела, прыгая на месте:

— Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!

Парни, смущенные, растерянно оглядывались по сторонам. А юнцы-националисты хохотали и ехидно ждали реакции взятых в кольцо гостей Одессы. Парни, видимо, хотели поскорее отделаться от этих безумствующих девок, но не знали, как, — попрыгать, что ли, принять всю эту игру или послать их к чертям собачьим, но тогда, возможно, придется разбираться уже с шайкой парней-наблюдателей.

Такси, вызванное мной, стояло поблизости.

— Сейчас поедem, — кивнул я шоферу и быстро, строго, как учитель, подошел к парням, которые попали в окружение прыгающих галдящих девок, которые несли околесицу:

— Кто не скачет, тот москаль!

— Ребята, кого ждем? Такси прибыло! Садитесь в машину! — Парни переглянулись и все поняли, решительно сдвинув девок в сторону, пошли к машине. А я громко прикрикнул на девок:

— Чего распрыгались, дуры! Вон посмотрите, сколько мандавошек натрясли! Прекратить прыгать! — Ошеломленные, они враз остановились, стали смотреть себе под ноги, словно и впрямь натрясли насекомых... Их присмотрщики возмутились было, ринулись ко мне, но я выкрикнул зло, властно:

— Стоять на месте! Сейчас проверим у всех документы!
После этого я быстро сел в такси, куда уже забрались двое парней:

— Поехали, командир!

В приоткрытое окно, уже на ходу, я крикнул молодым украм:

— Слава Гондурасу, недоноски!

Таксист горько усмехнулся:

— Во, времена пришли! Ждешь, когда лучше будет, а тут...

Я обернулся к парням.

— Мы из Питера. На литературную конференцию приехали. Здесь каждый год ее проводят. Город-то литературный...

— Не до конференций нынче, — сказал таксист.

Гриша Михальчук сходил в милицию с моей мздой, вышел не просто удовлетворенный, а даже довольный.

— Все, Валя, дело закрыли. Теперь — в кабак, отметим. Но уехать тебе через пару дней все же придется. Пригрозили...

Мне не хотелось в ресторан, не хотелось отмечать встречу с Гришей: что-то переменялось, что-то произошло в наших отношениях. Я пока не оценивал, не осмысливал эти перемены, но понял, что радости и отдохновения душевного с Михальчуком у меня не получится. К тому же все время думал о Ладе — она обожженная, лежит в больнице.

В ресторане было достаточно многолюдно: обеденный час. Но все посетители, будто пришибленные, говорили шепотом, поближе склоняясь к собеседнику. В городе объявили траур, но никто из официальных лиц не говорил, кто повинен в этом трауре: кто жег?

Это был ресторан с украинской национальной кухней. Вся обслуга в национальных вышиванках. Парень-официант заговорил с нами по-украински. Я тут же его пресек:

— Говори по-русски, я по-другому не понимаю.

Гриша снисходительно ухмыльнулся.

Вскоре выпили по рюмке-другой. Поговорили про армию. С ностальгией, с добрым словом. Петю Калинкина вспомнили. Но я чувствовал, что Михальчук хочет высказать мне как жителю России, как русскому какие-то претензии. Хотя я знал, что в политику он тоже не лезет, он спец по машинам, бизнесмен, но сейчас он словно бы захотел просветить меня.

— Вот вы, москали, хапнули у нас Крым. Понавезли туда вояк, понагнали народ на участки — голосуйте! Сейчас вот Одессу баламутите. Но здесь вам ничего не светит. Здесь Одесса.

Я кивнул головой. Спорить с Михальчуком я не собирался, а выслушать его стоило.

— Здесь, Валя, люди не хотят жить, как у вас в Москалятине... — голос Михальчука постепенно насыщался металлом. Я решил смягчить его натиск:

— Гриша, никто и не заставляет. Тем более я.

— А я тебе объясню, почему не хотят, — не слыша моего возражения, давил Михальчук. — У вас азиатчина. А мы Европа... Пускай сперва нам худо будет, но мы все равно уйдем на запад, в Европу. А укры там или как-то еще... Да хрен с ним, что выдумка... Пускай будут хоть черти лысые! Зато на этих идеях возродится настоящее украинское государство. Без всяких москалей, без всякой азиатчины... — Михальчук говорил, конечно, не своими словами: все это он от кого-то услышал, кто-то ему все это объяснил, а теперь он просвещал меня. — Вон погляди, как забрался

ваш царек на трон, так и сидит, и никто его не тронет, никакие выборы. У нас такого нет и быть не может. Вот придурка и вора Януковича скинули и любого другого скинем, если не станет европейскую линию гнуть. Вон поляки вырулили! И мы вырулим! У нас положение лучше, чем у поляков. Нам только от вас зависимость потерять... Живите вы, москали, в своей Азии и радуйтесь, что у вас там много газа и нефти... И пускай вас, москалей, как держала власть за рабов, так и держит...

Я демонстративно огляделся по сторонам.

— Это ты для меня, что ли, рассказывал? Может, мы еще тост за это поднимем? — Михальчук слегка смутился, он и сам понимал, что пропагандист из него никудышный. — А это здорово, что вы себе какую-то новую историю про укров сочинили. Забавно... Но ничего путного из этого не получится, Гриша.

— Почему?

— Скажи, Гриша, сколько моих денег ты отдал ментам? Семь, пять тысяч? Пятерку, поди, себе заныкал? С армейского товарища? — Я сыграл ва-банк, рискованно, но не проиграл. Я чувствовал, что Михальчук торговался с ментами, и от моих денег что-то откусил.

Михальчук даже слегка побледнел: его поймали за руку. Но бледнел он недолго. Он залпом выпил стопку водки, а потом придвинулся ко мне и заговорил, глядя мне в глаза, опять же с напором:

— Валя, время сейчас вон какое... Мне нужны твои проблемы? Задаром они мне нужны? — Он не сводил глаз. — Менты запишут меня в пособника сепаратистов, отберут бизнес. Мне это надо? Зачем ты полез в этот дом?

Вот и встреча с человеком, с которым вместе служил и считал своим армейским другом, вышла в Одессе вкривь да вкось. Мы простились с Михальчуком холодно. И, конечно, навсегда. Я не сказал ему это на прощание, но с иронией подумал: «Да, братья, долгое употребление горилки и сала сказались на вашей мозговой деятельности... Зациклились вы на этой Европе. Но англичанин хохлу не товарищ».

16

У Лады были забинтованы руки, голова. Говорила она с трудом, хрипло, задыхаясь. В больничной палате она встретила меня с радостью, со слезами. И хотя ей не рекомендовалось вставать, она кинулась мне навстречу — обняла меня.

— Валя, какое счастье, что все так обошлось, что Илья туда не попал... Господи! Но за что люди пострадали!.. А как ты? Как ты выбрался оттуда?

— Через следственный изолятор и подкуп должностных лиц при содействии влиятельного друга, — последнее слово я мысленно взял в кавычки.

После обеда в ресторане напряжение во мне спало. Но я твердо решил, что сегодня же улечу отсюда. Нечего мне делать в Одессе. Я так стремился сюда, так мечтал повидать свою первую любовь Ладу... Но. Не рвись в прошлое. *Прошлого нет!* Я так и подумал сейчас, когда сидел рядом с обоженной, забинтованной Ладой.

— Здесь немного денег. Они тебе пригодятся. Возьми. — Я передал Ладе конверт. Она поначалу возражала, но я сказал твердо: — Жаль, но только этим я тебе могу помочь. Возьми, без возражений... Наверное, я

уюду сегодня. Мне предписано покинуть вашу страну. Смешно звучит, но это так.

— Идиоты! Безмозглые, необразованные идиоты... Куда они нас заведут? — Лада тихо заплакала. — Неужели придется уезжать отсюда? Мы здесь прожили столько лет. И ничего не было. Никаких разногласий... Идиоты! Стравили людей... Обними меня, Валя, на прощание, — вдруг потянулась ко мне Лада. — И прости меня. Я тебя втянула...

— Что ты! Не плачь... Прощай, Лада! — Я ткнулся губами в щеку Лады, почувствовал горький запах каких-то лекарств, мази.

Мы расстались. Я, ждавший этой встречи пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, не то чтобы разочаровался, а просто после этой встречи как-то разом погас пыл к Ладе, она превратилась из обожаемой когда-то девушки в знакомую женщину, подругу. Я рисовал один «проект» нашей встречи, наших возможных отношений, а жизнь дала свой вариант, совсем не романтический.

Внизу, в фойе больницы, меня словно кулаком в грудь толкнули: я увидел того белобрысого подонка с площади в желто-голубой полосатой футболке, который ударил меня по ногам палкой, подло свалил на землю, про которого я в запале подумал: «Я найду тебя и убью!» У меня даже колено опять заныло от боли. И еще больше ненависти проснулось в душе.

Я знал, что не уйду без расплаты: на этот раз я себе этого не прощу. Второго Козявкина не будет! Если мстить, надо мстить сразу. Время приглушает злость, боль, силу мести. Хотя месть — штука гадкая. Как там по библейским наказам: «Мне отмщение, и Аз воздам...» Я сам сейчас воздам! Воздам этому гаденышу, издевавшемуся над незащитными людьми, которых они окружили своей волчьей стаей. Эти негодяи всегда храбры только в шобле. И такие, как правило, жадны до денег... Возможно, и все беспорядки в Одессе устроены за деньги.

Сейчас на парне поверх футболки была ветровка, на голове — бейсболка. Он сидел с девушкой в халате, у нее была в гипсе рука, и что-то рассказывал, жестикулировал, время от времени они смеялись. Выглядел он и нагловаато и в то же время как будто чего-то опасался — часто озирался по сторонам.

Я вышел из больницы, остановился в тени деревьев. Пусть парень расстанется со своей больной подругой — уж не вчера ли она сломала руку? Может, и ей отвалил кто-то, может, и сама камни кидала в дом с колоннами? Я опасался, как бы он меня не опознал. Но это вряд ли. Тогда было уже сумеречно, и я был грязный, по-другому одет, и был к нему боком, среди людей; он ведь не одного меня валил с ног. Я надел темные очки и, как зверь, стал выслеживать жертву, прикидывая разные варианты атаки.

Вот он и вышел. Один. Это мне и нужно. Я приложил к уху сотовый телефон и заговорил громко, чтоб слышал мой враг.

— Я не могу сам приехать! Я кого-нибудь сейчас найду и отправлю тебе эти бумаги. Жди! В течение часа доставят... Заплачу двести долларов — и привезут... — Тут я прервал свой фиктивный, липовый диалог и пошагал прямо на парня. — Слышь, приятель! — Я подошел к нему, широко улыбнулся. — Хошь заработать?

— Шо? — Он огляделся по сторонам.

— Я говорю, заработать хошь? Двести баксов! За пару часов?

— Чего надо делать?

— Отвезти конверт по адресу...

— Не наркота? — по-русски говорил он чисто.

— Исклучено! Бланки чистые. Пойдем! У меня в машине... Аванс получишь сейчас. Остальное — когда позвонит мне заказчик о доставке... Сам я не могу. У меня машина засвечена...

Я даже не стал дожидаться его согласия, надеясь, что двести долларов его сломают. Я зашагал в сторону прилегавшего к больнице парка, куда уже выверил дорогу, дожидаясь своего врага у больницы. Тут не было прохожих. Впрочем, прохожие могли появиться в любой момент.

— Вон там моя машина. Только хочу предупредить тебя. Заказчику ничего объяснять не надо. Адрес написан на конверте. Там же мой телефон... Вот тебе аванс. — Я остановился, выбрав наиболее укромный уголок возле скамейки, под кронами деревьев. Достал кошелек, вытащил стодолларовую бумажку. Усмехнулся. — Можешь пощупать, поглядеть на свет. Не подделка. Все по-честному. Проверь! А то с одним связался, он сам купюру подменил, и стал мне же доказывать, что подделка...

Парень клюнул, он поднял купюру, чтобы разглядеть на фоне неба. Тут я и всадил ему, мощно, отточенно, снизу вверх в солнечное сплетение. Он враз задохнулся и повалился набок. Я подсобил ему, чтобы свалился он за скамейку. Я забрал у него купюру. Взял парня за пальцы правой руки и что есть силы сдавил их. Парень взвыл, оскалил рот, вытаращил в ужасе глаза.

— Слава Гондурасу! — склонившись к нему, прошептал я. — Повтори!

— Слава Гондурасу! — выдохнул он.

— В аэропорт! — сказал я таксисту. В машине открыл бутылку коньяку. Одесского. Выпил немного.

— Куда летим? — спросил таксист.

— Домой. В Россию. А вернее, в Сочи. В санаторий.

— Везет... — усмехнулся таксист. — А я вот в Сочи не был ни разу. Хотя тоже в России родился.

— Везет, дружище... — Мне захотелось похвастаться таксисту. Наверное, у каждого нормального человека есть ген бахвальства. Но у меня было сейчас хвастовство особенное. — Я всего, чего хотел добиться, добивался. Вот и в Одессе. Я хотел повидать друга. Повидал. Хотел повидать свою первую любовь. Не только повидал, но даже в чем-то помог ей... Меня унизил один подонок. Но я отомстил ему. По-настоящему отомстил, запомнит.

— Вот я и говорю: везучий ты.

— Да, везучий. Только мечта-то осталась несбывшейся. — Я глотнул еще коньяку из бутылки. — Остановись у воинского кладбища. Я найду на минуту. Могилы погибшего деда тут нет, но хоть братской могиле поклонюсь.

— Дело святое, — кивнул таксист, потом глянул мне в глаза и опять кивнул: — А Украину вы сами прос...ли, ребята.

Вдоль дороги простирались поля, кое-где кустился рядами виноградник, но взгляд все больше забирали и увлекали горы в синей дымке, загадочные, манящие. А за горами было море. Я ехал на автобусе из Краснодара в Сочи. Прямого рейса из Одессы не нашлось, да и в Краснодар летели еще через один промежуточный аэропорт.

Итак, я ехал к морю, в санаторий, в Сочи.

В Одессе я и моря-то по-настоящему не видел, даже по набережной не прогулялся. В этом тоже было что-то символичное, ущербное. Вот придурки-националисты! В несколько месяцев так размаландать страну! Все вверх тормашками... Мне не хотелось вспоминать Одессу, я увертывался от воспоминаний, но они снова и снова выползали на первый план сознания. «Стоп! Проехали!» — повторял я, но в мозгу держались недавно пережитые события. И не отпускала встреча с Ладой.

Я с горькой усмешкой вспоминал свои наивные мечты о возврате школьной любви. Что это было? «Старческие» иллюзии, которые питали меня романтической любовью к давней подруге? Теперь я не испытывал к Ладе прежних чувств. Будто отшибло. Я пытался найти в себе эти чувства, которые тешили меня долгие годы, но безрезультатно. Лада представляла передо мной несчастной вдовой, занятой только своим сыном, потускневшей и постаревшей, безжалостно и незаконно пострадавшей от «идиотов»...

Наконец-то в глаза, будто волной, плеснула синева моря. Мне стало хорошо и спокойно. Копоть и настороженность сожженной Одессы смылась, затих южнорусский хохляцкий говор в ушах, который звенел после пожара в доме с колоннами. Я вдыхал напоенный йодом воздух родных субтропиков...

Человек должен жить для себя и своих родных! И выполнять то, что обязан по службе. В этом и будет порядок. И главное — смысл жизни. Иначе все бардак, глупость, пустота. Я втихомолку блаженствовал. Вот и начался отпуск.

Санаторий пришлось выбрать не самый первостатейный: деньги-то ушли. Ах, какие это ненадежные бумажки! Но я не был чопорным и избалованным. Словом, санаторий был старенький, советский... Но в этом было немало преимуществ. Здесь сохранились советские медицинские лечебные процедуры, оздоровления, и мне хотелось им полностью подчиниться. Побывать на мацестинских ваннах, не упустить всевозможные процедуры. К моему удивлению, даже море оказалось не таким уж холодным, и нашлось немало отважных купальщиков. А майское солнце светило вовсю. Все ходили в легких одеждах. Жары еще не было, и слава Богу: жару я не любил, не терпел даже.

День-другой — и я стал осматриваться, как всякий неженатый или, тем более, женатый мужчина на курорте. Иллюзии о легком романчике скоро растаяли: не с кем тут было знакомиться, амурных перспектив никаких. Я с придирчивостью оценил весь контингент — и разочаровался. В основном здесь были парами: он и она, в основном, в преклонных годах. Или одинокие пожилые дамы, а я не забывал напоминать себе, что я еще ого-го и что в сорок пять для меня жизнь должна только начаться. Еще упал у меня взгляд на женщину с дочкой, но дочка была такой прилипчивой, что не отпускала от себя мать ни на шаг. По годам дамочка мне вроде бы подходила, но по другим параметрам — габаритам, «кубатуре» — не очень... Тут я вслух рассмеялся: и термины строительные, и просто глупость какая-то, но все это означало и другое: я начинал по-настоящему отдыхать. Солнце, воздух, процедуры, горы, бассейн с морской водой — что еще может быть лучше! А любовные интрижки — так, на десерт, если получится. Правда, иногда словно туча находила на меня — дымная туча воспоминаний о Ладе; почему-то я чувствовал себя перед ней должником.

По привычке утром я просыпался рано. Физзарядкой я никогда не занимался, а здесь надевал спортивный костюм и до завтрака выходил на пустующие аллеи санатория, делал пробежку. Меня тянуло жить, а любить пока было некого. После разминки наступала приятная усталость, безмыслие: всякое раздражение, худые и нехудые мысли отступали. Я принимал душ, потом недолго отдыхал и шел в столовую. После завтрака отправлялся на процедуры, ехал на сероводородные ванны в Мацесту. Комплекс Мацесты поражал: архитектура победившего социализма, советский сталинский стиль, монументализм — здесь было на что посмотреть. А какой воздух! Горы в синей дымке. Не исключался и бокал сухого вина в фирменном кафе «Фанатория», и так полдня утекало совсем незаметно. А после обеда — послеобеденный сон. Потом — массаж, бассейн, душ Шарко, прогулка вдоль берега моря. А вечером — Большой Сочи. Парк «Ривьера», платановая аллея, набережная... Появился и попутчик, тоже из отдыхающих, Коля, простой мужик с Севера, из нефтяников-вахтовиков, недоставучий, неболтливый, с которым можно было поговорить «ни о чем» и съесть шашлык в кафе под бокал пива или в кофейне выпить по чашке кофе, приготовленного в турке на горячем песке.

Я озвучил ему тезис: зачем я буду думать о том-то и том-то и тратить на это свои нервные клетки, расходовать свою мысленную энергию, если то-то и то-то от меня никоим образом не зависит? Уж лучше говорить о чем-то отвлеченном и приятном, чем о злом и насущном. Коля меня услышал и совсем не лез с разговорами о политике. Съездили с Колей и на спортивные объекты недавно отшумевшей, победной для нас Олимпиады. Как строитель я кое-что оценивал, прикидывал сметную стоимость, удивлялся.

Отдых складывался удачно. Но натуру не проведешь! Что-то тихонько ныло внутри, как будто в супе не хватало соли, на столе не было солонки, и я начинал оглядываться по сторонам, будто искал солонку на соседних столах, но солонка мне совсем была не нужна. Женщины! Конечно, среди гуляющей толпы было немало красоток, обаяшек, но они все были как-то пристегнуты. Впрочем, я не торопил события, случай должен подвернуться или, по-другому, свинья грязи найдет...

Однажды утром я увидел у стойки регистратора женщину, черноволосую, яркую, одетую в броское платье, с красными крупными бусами на шее; волосы у нее отблескивали, завитые в мелкие-мелкие кудри. «Наверно, цыганка. Какая экзотика! «Мне б такую», как в песне поется», — мимоходом подумал я. Рядом с ней, однако, стоял юноша, по всему видно, сын, и он был породы светлой, походил на чистокровного русака. «Цыганка» что-то говорила, то громко, то со вздохом администраторше, то хотела что-то доказать, то о чем-то как будто умоляла. И все время она озиралась по сторонам, озабоченно и прицельно оглядывала каждого. Взгляд ее задержался на мне. Я даже почему-то непроизвольно кивнул ей в знак приветствия. Она тоже кивнула и тут же направилась ко мне.

— Извините, мужчина... Меня Лилей зовут.

Я тоже представился.

— Не удивляйтесь, Валентин, у меня странная просьба. Не могли бы вы побыть недолго моим мужем. Мне вас нужно показать администрации санатория.

Я рассмеялся:

— По-моему, кино такое было: «Будьте моим мужем». Там, кажется, Андрей Миронов играл. Только я не помню, о чем оно и чем закончилось.

Но Лиля не шутила, просила всерьез, без розыгрышей.

— Вы лучше других подходите. На моего мужа похожи... Вот на фотографии в паспорте. Взгляните! — Она достала из сумочки чей-то документ и предъявила мне.

С маленького паспортного фото на меня пучился мужик, по моим понятиям, явно не схожий со мной. Мне стало весело:

— А в чем дело-то? Поподробней, пожалуйста.

— Валентин, нет никакого обмана, — она мягко и в то же время по-свойски заговорила со мной, в приятельском духе. Она была взволнована и просила помощи, особой помощи. — Мой муж — чернобылец. Каждый год ему дают путевку, чтобы самому лечиться и сына подлечить. Но сам он не ездит. Переоформляет путевку на меня. А тут путевка горящая. Он не успел... Дал мне свой паспорт, говорит, устройся, договорись. Но администраторша боится... Говорит, должен муж быть оформлен. Я ей сказала, что муж подъедет... Вот я вас и нашла... — Лиля смотрела прямо, искренно и абсолютно серьезно мне в глаза, и, как мне казалось, без капли юмора.

— Мне только устроится. Потом я со всеми договорюсь. Главное — для сына Кирюши...

Сынок тем временем не выражал никакого беспокойства: он сидел в кресле и играл на планшете, наверное, в бесконечные игры, которые обожают его поколение двенадцати-четырнадцатилетних оболтусов...

— Вы уверены, что это правильный ход?

— Да-а... Они вас оформят. Вы поселитесь. Главное — поселиться. А потом я со всеми договорюсь. Главное, чтоб дали номер и поставили на питание. Я готова им приплатить... Все люди. Все все понимают. К тому же я не задаром.

— А спать нам вместе придется? Если по паспорту я ваш муж... — коварно пошутил я, чтоб узнать реакцию новой знакомой.

Тут она рассмеялась, задорно, весело. Смеялась она красиво, и лицо у нее становилось очень красивым, глаза сужались, губы и подбородок чуть вздрагивали, на щеках играл румянец; она как будто молодела, становилась девушкой кокетливой и ветреной...

— Все же давайте сделаем по-другому. Сходим к директору. Он, говорят, человек доброжелательный. К тому же администратор меня уже оформляла и вряд ли забыла... — предложил я.

Лиля предупредила сына об отлучке. Кирюша только головой мотнул и даже не оторвался от игры на планшете.

Директор санатория, молодой элегантный армянин, был прост и вменяем. Лиля ему, очевидно, приглянулась, он ей улыбался, говорил простенькие комплименты; возможно, он в ней чуял свою, возможно, она была из их племени, южных кавказских кровей. Лиля и он больше улыбались друг другу, а говорил в основном я, уже с некоторой ревностью:

— Понимаете, Ашот Арменович, я друг ее мужа. Он неожиданно заболел и очень просил меня оказать содействие семье. Жене и сыну. Как-никак, чернобылец...

— Уважаемый, нам все равно, кого соцслужбы отправляют на лечение: Васю или Дашу. Пусть они дадут нам бумагу, письмо, — он говорил с приятным южным акцентом.

— Если они пришлют письмо факсом, это вас устроит? — по-деловому спросил я.

— Разумеется, устроит, — сказал директор.

— Однако из кабинета директора Лилия вышла растерянная.

— Где мы достанем такое письмо?

— Неужели в вашем городе нет ни одного знакомого, кто отправил бы нам факс?

— Но письмо мы где возьмем? У этих соцслужб пока допросишься.

— Письмо мы сами сделаем. И отправим по электронной почте. А на санаторий из вашего города отправят факс.

— А печать? На письме должна быть печать!

Я улыбнулся. Мягко взял из руки Лилии ее путевку, на которой отлично читалась печать организации, выдавшей этот документ.

Через пару часов из ее родного города прилетел факс в санаторий с нужным текстом и печатью внизу. Подделать такое письмо мне труда не составило. В ближайшем компьютерном центре я сканировал печать, разработал фирменный бланк письма, ну, а дальше... Как в моем любимом кино «Бриллиантовая рука»: «Ну, а дальше — дело техники...»

На столе администраторши лежал факс, в котором говорилось, что администрация передает путевку жене, члену семьи чернобыльца. Все чинно, комар носу не подточит. А когда Лилия с Кирюшей заселились и, наконец-то, облегченно вздохнули, я поблагодарил судьбу, что она подкинула мне в санаторий премилую женщину, пусть и замужнюю, пусть и с отроком.

Лилия смотрела на меня благодарными глазами.

— Как все вы здорово придумали! Так все быстро решилось... Надо купить бутылку коньяку, отблагодарить директора...

— А меня отблагодарить?

— Ну, это не обсуждается, — рассмеялась Лилия и даже легонько прижалась ко мне в знак благодарности. — Отметим вечером.

Тут мое воображение стало рисовать прекрасные картины сегодняшнего вечера. Внутренний голос лукаво подсказывал: в ресторан с Лилей лучше не ходить, а отметить событие у меня в номере. Было, конечно, опасение: Лилия замужем, муж-чернобылец морально давит на нее и мешает. А вот Кирюша уже не малыш и вполне удовлетворится своим планшетом.

Весь остаток дня до назначенного свидания меня не покидало чувство легкости и веселья. Я словно бы помолодел; все прожитое, пережитое сдвинулось куда-то далеко, будто мне оно и не принадлежало, и вообще казалось, что не было никакого прошлого: все только начинается с чистого листа. Я оглядывался по сторонам, произвольно что-нибудь рассматривал, куда-то шел, не думая, куда; мне легко дышалось. Вот бы остаться здесь навсегда! Дышать этим воздухом, купаться в море, жить среди этой красоты, покоя, испытывать душевное равновесие, глядеть на пальмы и рододендроны... Чувства мои были настолько светлыми и всеохватывающими, что становилось радостно даже не от предчувствия будущего свидания, а от общей полноты жизни, словом, как в детстве, когда, проснувшись, испытываешь каждой клеткой тела и души свет и радость светлого и радостного мира.

Лилия пришла ко мне в номер принаряженная, подкрашенная, в синем длинном платье из тонкой материи. С первых же минут свидания мне хотелось Лилию потрогать, обнять. Я даже начинал ее ревновать к тем мужчинам, которые у нее были... Пожалуй, это было впервые: странное, новое чувство ревности, ведь у меня с ней еще ничего не произошло. Но мы с ней уже перешли на «ты».

Остороженько, без нажима и спешки я решил попытать Лилию на-

счет мужа. Как и что? Проблема верности... Лиля была открыта, искренна, по крайней мере, мне так казалось. Не сразу, не целым ведром информации, но постепенно она рассказала, как стала женой чернобыльца и кто этот самый чернобылец.

— Когда взрыв грянул, Сергей еще был молодой, пожарным работал. Дурость в голове. Не понимал, что такое радиация и прочее... Набирали добровольцев, он мог отказаться. Но не отказался. Сам напросился в Чернобыль. Героем хотелось быть... Вернулся, все вроде нормально. Но потом сказало. Стал часто болеть...

— Сейчас, наверно, жалует о том, что поехал? — спросил я.

— Нет, говорит: у каждого своя судьба. Он такую выбрал... У меня сразу были сомнения: чернобылец — как дальше со здоровьем? Ведь радиация не шутки... Но я все равно за него замуж пошла.

— Любила сильно? — без усмешки подсказал я.

Лиля без усмешки отвечала:

— Нет. Любви не было. Так, только взаимность. А любви не вышло... Просто так... Он, Сергей, из хорошей семьи. И мать, и отец — преподаватели, поэтому я надеялась, что он и мужем будет порядочным. Семью не разобьет... Мы с ним сейчас уже порознь живем. Просто развод не оформляем, чтобы легче было и с лечением, и с льготами разными.

— А он любил тебя? — я еще никогда и никому не задавал таких вопросов «в лоб» через несколько часов знакомства, в первый день, но сейчас я даже не испытывал стеснения и скованности, казалось, я мог спросить ее о чем угодно, даже о самом сокровенном.

— Он меня, наверное, любил, — простодушно отвечала Лиля. — Ну, во всяком случае, я его очень сильно притягивала. Он мне подарки разные дарил, с поцелуйчиками все время лез, вещицы разные интимного гардероба покупал. В общем, как женщина я ему нравилась... А любовь — это что-то другое. Я думаю, что любовь чувство бешеное, недолгое. На один месяц...

Я слушал Лилю и старался понять, что она за человек: все впрямую говорит, не скрывает, что вышла по расчету замуж, что с мужем не живет...

— Потом у Сергея проблемы на работе начались, он перестал на меня внимание обращать. Хотя мужчиной-то он быть не перестал... Я друга себе завела. Сперва одного, потом другого. К нему совсем охладела. Только так, по обязанности... Он за городом живет. Иногда к нам приезжает. Кирюшу очень любит, — Лиля рассказывала увлеченно и главное — доверительно. — Сергей все время нашу жизнь ругает. Говорит, что сыну досталось время подлое. Все свели к деньгам, и ничего больше. Кругом деньги, деньги... А ведь тушить Чернобыль ехали не из-за денег. Сейчас туда бы никого не загнали по доброй воле... Ну, а к женщинам он сейчас совсем охладел.

— А ты, Лиля, к мужчинам?

— А я нет, — она рассмеялась и прижалась ко мне.

Тут я впервые поцеловал ее в щеку. Все складывалось превосходно!

В этот вечер, в этот изумительный вечер у меня с ней ничего так и не случилось. Когда после легкого вина, после милых застольных разговоров о горах, о море, о мацестинских ваннах и о разном прочем курортном, я пригласил ее потанцевать (о музыке я позаботился заблаговременно) и мягко прижал к себе Лилю, почувствовал к ней удивительное влечение. Сперва я объяснил для себя это тем, что у меня уже давненько не было

женщин и естество брало свое. Но, похоже, это было не так: у нее была упругая душистая смугловатая кожа, цыганочные волосы и безумные черные глаза.

— Ты цыганка? — спросил я напрямую.

— Не-ет... Многие так думают. Может, где-нибудь в нашем селе и зачесался в роду какой-нибудь цыган, но родом я русская. Просто род такой весь чернявый вышел... А прадедушка священником был с огромной черной бородой. Я на фотографии видела.

— Очаровываешь ты, как цыганка...

Лиля рассмеялась, а я поймал момент, обнял ее сильнее, стал целовать в губы. Потом стал обнимать ее так страстно, что намерения мои были очевидны. Лиля мягко отстранилась от меня, ее глаза блстели, казалось, тоже от возбуждения и распаленности, но она тихо сказала:

— Валя, сегодня не надо. Перенесем на завтра. У нас еще уйма времени...

Я подавленно опустил голову, танец подошел к концу. Самый грустный вариант пришел в голову: ну вот, воспользовалась мной — и в сторону. Лиля, вероятно, почувствовала эту обиженность, притянула меня к себе, запрокинула голову и впиалась сладко, опытно и покорно своими губами в мои губы.

— До завтра, — шепнула она потом, слегка отдышавшись.

В эту ночь я долго не мог уснуть, хотя прежде засыпал легко. Приятные обнадеживающие мысли вились вокруг Лили. Я думал только о ней. Ни о чем другом думать не удавалось. Даже если я насильно заставлял себя вспоминать о бывших «женах», о поездке в Одессу, о Ладе, о дочке, о Толике, Лиля как будто стояла рядом или слушала все мои мысли... В моей груди появлялось какое-то знобяще-тревожное, приятное чувство. Так приходит любовь.

18

На следующий день, вернее, ночь Лиля ночевала у меня. Я беспокоился о ее сыне, но Лиля мне сказала:

— Он уже взрослый мужчина — один не боится. Сергей в нем воспитывает мужество... К тому же телефон под рукой, да и расстояние между корпусами (они жили в другом корпусе) — докричатся можно.

Лиля отдалась мне просто, естественно и полноценно, как будто много-много раз делала это уже со мной. Любила она не только умело, но даже как-то весело. Темпераментная, шаловливая, она быстро зажигала меня, да и сама увлекалась самозабвенно и неутомимо.

Две недели мы с Лилей проскочили по курортной жизни будто за один день и одну ночь. И все это счастливо-полоумное время мы ни от кого не прятались. Правда, Лиля не каждую ночь оставалась у меня, зато каждый день оказывалась в моей постели. Теперь я даже не представлял, как мог жить без нее. Наверное, такое бывает с каждым мужчиной, у которого плавают мозги...

Опять в груди появилось щемящее неизъяснимое волнение, сладкое, будто стоишь над пропастью и гордишься тем, что стоишь на огромной высоте. Это чувство бесстрашия высоты становилось необузданным. Я понимал, что поплыл... Но разве я не об этом мечтал, разве не об этом мечтает каждый свободный мужчина?! Да, отправляясь на юг, в Одессу, я мечтал возродить, обновить свои чувства к Ладе. Но Одесса мне этого

не дала. А здесь сам воздух был пропитан не страданиями и тревогой, а весельем, вольностью и любовью.

Однажды я ждал ее вечером у себя в номере. Уже весь истомился. А она запаздывала. Надоедать звонками — не в моих правилах. Опаздывать ей и не возбранялось: все-таки нельзя было безоглядно бросать Кирышу вечерами и нестись к любовнику. Но в этот вечер я почему-то трепетал. Измучился от ожидания. Я уже намеревался пойти ей навстречу, вышел в узкую прихожую номера, посмотрел на себя в зеркало перед выходом. Но вдруг услышал тихий, знакомый, любимый стук в дверь.

— Лиля! — Даже задрожал от счастья. — Я так ждал тебя!

В эту минуту я не утерпел, впрочем, и не хотел сдерживать себя, понимая, что это моя последняя любовь. Всего меня охватило волнение, которое было знакомо и прежде, в молодости и в юности, и я знал причину этого волнения; у меня даже ком в горле появился от горьких и сладко-счастливых слез. Я прошептал Лиле на ухо:

— Я люблю тебя.

Она, похоже, не очень-то удивилась моему признанию, но покорно прижалась ко мне, поцеловала меня, шепнула в ответ:

— Мне так с тобой хорошо, Валя!

Потом она потихоньку стала расстегивать пуговицы на моей рубашке, игриво и тихо шепнула:

— Можешь смотреть в зеркало. Там будет интересно...

Позже, когда пришла успокоенность и чувство благодарности к Лиле за ее неистощимую ласковость, я сказал:

— Наверно, твой муж Сергей здорово ревновал тебя? Ты необыкновенная.

— Он мне сказал: ревновать тебя, Лилия, себе дороже. С ума сойдешь... — ответила она. — У него был друг, этому другу я нравилась. Он этого и не скрывал. Так однажды Сергей позволил мне с его другом вместе поехать в командировку.

— Он так подстроил?

— Нет! Он просто не запретил ни ему, ни мне...

— И что было?

— Ничего не было. Он был его настоящим другом. Он просто меня поцеловал в щеку и сказал, как жаль, что Сергей его настоящий друг. Они вместе ликвидаторами были... А вообще-то, если бы его друг был понастойчивее, я бы... — Тут она рассмеялась. Как всегда, заразительно и достаточно громко, смех ее, словно звон колокольчика, разлетелся по номеру. Потом Лилия, словно спохватившись, сказала:

— Все! Я должна сейчас уйти.

— Куда? — недоумевал я.

— Сегодня день рождения у администраторши. Меня пригласили. Ну, так просто, посидеть. Девичник... Я обещала, так что надо пойти посидеть. Она добрая женщина.

Когда Лилия ушла, я долго лежал на кровати без движений, больной от своего признания в любви, от ласковости Лили. Я не очень понимал: когда, как она успела сблизиться с администраторшей? Все же очень легко Лилия умела сходиться с людьми. Всех подкупала ее искренность... Но я чувствовал и некоторую загадку в Лиле. Если в своих прежних любимых женщинах я в основном видел, кто они, что они, то в Лиле еще не разобрался. Иногда она была и вовсе без тормозов.

Ночью того же дня, после девичника (но был ли это исключительно

девичник? — ломал я голову) Лиля звонила мне по сотовому телефону и спросила:

— Валя, ты правда, меня любишь? — голос ее был отчаянно-горячий, заигрывающе-веселый, с явной пьянцой.

— Такими вещами в моем возрасте не шутят. А если и шутят, то не так, перед зеркалом...

Она рассмеялась.

— А если ты меня любишь, повтори это?

— Я тебя люблю!

— Громче!

— Я тебя люблю!

— Еще громче!

— Я тебя люблю!

— А теперь выйди на балкон и крикни так, чтоб я тебя услышала...

Я тоже на балконе стою...

Я не стал оправдываться перед Лилей: мол, извини, люди уже спят, я, не раздумывая, вышел на балкон и, заглушая в себе всякий разум и осмотрительность, выкрикнул в глухую ночь:

— Я тебя люблю!

Она, безусловно, это услышала на балконе соседнего корпуса. Другие тоже услышали...

Как-то раз, когда курортный роман у нас был в разгаре, а дней до моего отъезда оставалось мало, мы сидели в одном из популярных сочинских ресторанов: хотелось иметь и такую страничку в своем отдыхе. В этот вечер много и мило говорили, шутили, танцевали. Даже приняли участие в каком-то розыгрыше призов в развлекательной программе. Лилия была в тот вечер очень красивой, она и не могла быть иной, она уже крепко загорела, загар ей очень шел, особенно в белом тонком сарафане на просвет, вся притягательно шоколадная, сексуальная.

Мы пили из бокалов французское вино, ели жареную семгу с богатым гарниром. Говорили о ерунде, но о такой ерунде, которая впоследствии чего-то стоит:

— Лилечка, кем ты мечтала стать в юности?

— Все мечтали стать какими-то знаменитыми, а я... А я мечтала стать официанткой... Я еще школьницей подрабатывала официанткой в летнем кафе. Мне нравилось.

— За тобой, наверное, многие ухаживали — вот и нравилось.

— Ну, и такое случалось. Но в этой работе есть что-то привлекательное. Мне ведь хотелось быть официанткой на большом круизном судне...

— А кто ты сейчас?

— Работаю в салоне красоты. В общем, парикмахерская. Мы ее с подругой держим. Я упустила время, не получила хорошего образования, а теперь за книжки садиться не хочется. Поздно...

— Но все равно о чем-то мечтаешь?

— Свой ресторан иметь... Такой же, как этот, — она рассмеялась довольно громко. Кое-кто из зала на нас даже оглянулся.

Хм, она говорит, что не получила образования, подумывал я, наблюдая, как Лилия умело орудует ножом и вилкой. Профессии тоже дельной не получила... Но в ней есть что-то холеное, породистое, и избалованность есть. Похоже, она никогда не перебивалась с хлеба на воду. Хотя кто знает... Все же есть в ней таинственность. Ну, и здорово!

Я смотрел на нее откровенно-влюбленно: она яркая, обаятельная, она, действительно, как кошка, — ласковая, щедрая, обворожительная. Истинная женщина! И вдруг я почувствовал счастье... Я же мечтал всю жизнь об этом. Сидеть на берегу моря в ресторане с красавицей, пить хорошее вино, слушать музыку. Да, я счастлив! Я люблю эту красавицу, я свободен, я никому не изменяю, никого не предаю, мне некого опасаться. Это полнокровное счастье!

— Валя, давай поменяемся с тобой местами, — вдруг попросила Лиля; мы сидели друг против друга.

— Почему? — удивился я.

— Ты только не оборачивайся... Напротив сидит какой-то усатый кавказец. Он слишком пялится на меня...

— Может, набить ему морду?

— Нет, нет! Что ты! — Лиля рассмеялась.

— Может, просто ты сама строишь ему глазки, а он цепляется? — шутливо сказал я, но внутри меня обожгло ревностью. Я давным-давно не испытывал этого лютого чувства.

Я обернулся. За моей спиной, через пустующий столик сидели двое кавказцев. Они и не скрывали, что косились в нашу сторону; мне они даже как-то по-приятельски улыбнулись. Я им не ответил улыбкой.

— Ты в фаворе у здешней публики... Но мне не хочется отдавать тебя на растерзание даже взглядам этих усачей, — сказал я.

Лиля опять безоглядно громко смеялась.

То, чего я боялся, — конец моему отдыху и расставание с Лилей, — произошло как-то внезапно. Однажды я проснулся утром, вспомнил, что вчера у нас с Лилей был последний вечер... На душе стало мутно, хоть плачь. Я сегодня улетаю, а она еще остается здесь на несколько дней. Может, продлить путевку? Нет, санаторий мне уже поднадоел. На завтрак я решил не ходить, перекушу в аэропорту, все равно придется тупо убивать время в ожидании посадки. Сейчас зайду к Лиле, повидаюсь и... Нет, наперед загадывать не буду! Пусть все идет как идет.

Я осторожно постучал в номер к Лиле. За дверью раздался голос Кирюши:

— Войдите.

— Где мама?

— Она ушла к администратору. Сейчас придет.

— Я уезжаю. Давай руку. — Я пожал руку Кирюши. — Рука у тебя твердая. Спортом занимаешься?

— Немного. Стрельбой... Папа у меня мастер спорта по стрельбе.

Я вышел из номера: не хотел прощаться с Лилей при сыне. Дождался ее в коридоре.

— Я уезжаю, — сказал я.

— Мне проводить тебя? — Она смотрела на меня растерянно, она тоже, наверное, не знала, как вести себя со мной сейчас, что мне нужно.

— Давай здесь простимся. Где познакомились, — сказал я, обнял Лилю в сумраке коридора, поцеловал, потом прошептал: — Спасибо тебе. Я позвоню. — Я хотел сказать ей, что люблю ее, но почему-то не посмел, — значит, точно люблю...

Я пошел по коридору, оглянулся — Лиля стояла на месте. Я не видел из-за сумрака ее лица, ее глаз, но я видел ее внутренним зрением, остро помнил ее «цыганские» черные волосы, завитые в мелкие кольца,

ее карие глаза, сверкающие в темноте, когда она любила меня, ощущал запах ее кожи, ее ласку, слышал, словно въяви, ее смех.

Я уходил от нее, будто в забытьи, в некоей полудреме, еще не понимая, что происходит. Где, когда состоится наша новая встреча? Мы даже не договорились. Созвониться — да. Но что такое звонок!

И в такси я ехал в недоумении. Как так, почему так быстро, *неожиданно* все оборвалось? Дорога была скоростная, прекрасная, отделанная к Олимпиаде, да и все вокруг казалось свежим, прибранным, чистым и прозрачным. Погода баловала, и на побережье было полно загорающих и купающихся.

В аэропорту было немногочленно и опять же светло, просторно и чисто. Ну, почему, почему я так холодно и быстро простился с Лилей, отказался от того, чтобы она меня проводила? Меня обжигала обида на самого себя. И почему не поговорил с Кирюшей, не узнал, кто их ждет дома? Я задавал эти вопросы и не получал и не мог получить ответов на них. Ругал себя за раздолбайство. А ведь у нас с Лилей все было так серьезно. Как в первый раз... А расстались так:

«Позвоню! — Позвони!»

Больше медлить было нельзя, пора идти на регистрацию. Тут во мне все заныло, загудело в висках. Мучила жестокая мысль: стоит только улететь — и Лилю я больше никогда не увижу. Я позвонил ей, вернее — только набрал номер, но до разговора не дошло. Что я скажу ей по телефону, разве у меня не было времени объясниться с ней раньше? Да и Лилия, как я заметил, не любительница болтать по телефону. А впрочем, куда я тороплюсь? Почему улетаю? Ведь мне, в сущности, некуда торопиться. Дома никто не ждет. Работа не убежит.

Я пошел к стойке — не к той, где шла регистрация на рейс, а к той, где сдают билеты.

— Вы сдаете перед самым вылетом — процент возврата будет очень маленький, — предупредила кассирша.

— Все равно. Я не могу улететь сейчас.

Ах, не мальчишество ли это? Блажь? Придурь? Но поверх всего во мне бурлило счастье, оно всколыхнулось и заполняло меня точно так же, когда я впервые, с нетерпением дождавшись Лили, признался ей в любви. Никакой здравый смысл уже не мог остановить меня.

Я опять мчался в такси. Я безумно любил ее, ревновал ее, я хотел ее видеть, быть с ней, жить с ней, никогда не расставаться.

Время было уже послеобеденное, все процедуры, как правило, закончены, и Лилия должна была быть с сыном у себя в номере. Я осторожно постучался.

— Кто там? — спросил Кирюша.

— Это я...

— Вы? — Он с удивлением открыл дверь.

— Да, — пролепетал я. — Рейс перенесли по техническим причинам. А где мама?

— Она ушла.

— Куда?

Кирюша пожал плечами.

— Неужели она тебе не сказала?

Он снова пожал плечами, потом посмотрел на меня с сожалением:

— Зря вы вернулись... Вы ее не удержите. Папа говорит, ее никому не удержать... Она с директором санатория в кофейню ушла.

— Не говори ей, что я возвращался.

Я вышел из номера. Сердце бешено колотилось, отдавалось в висках, горело от ревности, в ушах шумело от отчаяния. Но я собрал волю в кулак. Хотя бы ненадолго. Нет! Стоп! В кофейню не пойду! Все! Хватит! Какой дурак! Поверить цыганке! Я рассмеялся ядовитым смехом. И пошел прочь из этого санатория. Скорее прочь, чтоб никто меня здесь больше не увидел.

С другой стороны, с логической, мне стало даже как-то легче, все стало понятней и проще. Ну вот открылись глаза, и никаких обязательств и морок. Свободен по-прежнему! И счастлив, что имел красивую женщину! Теперь пусть с ней спит... Но я оборвал свои мысли. Стоп! Не надо ныть. Проехали! Правда, «проехать» в этот раз не получалось. Но и оплошлять ничего не хотелось. Она просто такая. Открытая, доступная, и Бог ей судья.

На этот раз я поехал на вокзал. В кассе купил билет на ближайший поезд до Ростова-на-Дону, поезд был как раз под парами... Сперва до Ростова, как раз и к сослуживцу Петру Калининскому заеду, залью свою и радость, и печаль с армейским другом. В дорогу я все же захватил бутылку коньяку. Со мной в купе ехала семья. Отец, мать и дочка. Предложил им выпить за удачно проведенный отдых. Они согласились. Мы выпили, я расслабился, успокоился слегка. Я был счастлив и несчастен одновременно. Я был пьян и трезв одновременно. Я был еще молод и уже стар одновременно. Потом я забрался на верхнюю полку и спал как убитый до самого Ростова.

19

Петра Калининского найти оказалось проще простого. Адрес у него остался прежним, так что плутать по городу не пришлось. К тому же он жил недалеко от вокзала, и таксист даже на меня покосился с подозрительной иронией: чего, мол, пешком пару кварталов пройти не можешь... За три минуты мы от вокзала доехали до дома Петра. А в дом заходить не пришлось. Петр был во дворе в окружении дюжины казаков в форме, штаны с лампасами, некоторые — в защитного цвета комбинезонах. Дородный, головастый, с окладистой черной бородой, Петр выделялся из этой казачьей массы и ростом, и осанистостью. Он что-то говорил окружающим, и все были возбуждены, словно он травил их анекдоты. Увидав меня, Петр онемел, вытаращил глаза. Потом он всплеснул руками и бросился ко мне навстречу. Мы крепко обнялись. Глаза Петра аж заслезились от радости.

— Валька, чертяка! Да ты ли это? Не сон ли привиделся?.. Я ж про тебя только что вспоминал! Даже казакам рассказывал, как мы с тобой служили...

— С чего вдруг такое внимание? — рассмеялся я. Что-то в этом скрывалось загадочное: ничего ж так просто не происходит в жизни, и даже воспоминания не бывают случайными, а тут Петр про меня сотоварищам рассказывал.

Я оглядел окруживших нас мужиков в казачьих мундирах и камуфляжах. Усастые, бородатые, подтянутые, с какими-то наградами на груди, и все равно немножко как будто ряженые, они у меня покуда полного доверия не вызывали. Не вызывали до одной минуты.

— Мы на Украину едем. Не все. Покуда впятером. Вот еще двое чеченов сейчас подойдут, и в путь, — сказал мне после знакомства с сотоварищам.

рищами Петр и кивнул головой в сторону машины. Поодаль, на обочине улицы, стоял военный тентованный «Урал». — А вспоминал-то я тебя вот чего... — Тут Петр перебил себя: — Слышь, Валь, а ты куда собрался-то? В отпуск, что ли?

— В отпуске, Петя, я уж отбывал.

— А дома-то тебя сильно ждут? — заискивающе спросил Петр.

— Нет, не сильно...

— Так поехали с нами! Помочь, Валя, надо братьям. Их там эти уроды бандеровцы со свету сжить хотят. У западнцев совсем мозги съехали... Ну, разве на Донбассе русские будут говорить по-холяцки или за ихнего Бандеру тосты поднимать? Они еще одуматься могут, если им по башке немного настучать, — говорил многословно Петр, он будто торопился вылить на меня ушат своей информации. — Америкашки воду мутят. А хохлы перед ними выслужиться хотят: мол, мы кацапам покажем... А народ-то, простой народ боится. Вон в Одессе сожгли заживо полсотни человек, и все заткнулись. Сдалась Одесса.

— Я знаю. Я был там, — сказал я мимоходом. А Петр тем временем шпарил свое:

— Ежели бандеровцы залезут туда, в Донецк, на Луганщину или Харьков подомнут, нам тут тяжко придется. Нельзя время упустить. Выручай, Валька! На месяцок съездим. Повоеюем. Сам понимаешь, там позарез артиллеристы нужны. Наводчики, корректировщики... А ты ж профессорский артиллерист. Отличник боевой подготовки, — он рассмеялся, а глазами сверлил мне глаза — и просил, и настаивал, и внушал... — Поехали, Валя! Денег не обещаем, но тут честь задета... Кормежка, обмундирование — это как полагается. Да и ребята какие хорошие. Казаки!.. У тебя размер какой? У меня новые берцы для тебя есть...

Я смотрел в глаза Петру. Возможно, он дуркует, прикидывается и вовсе не верит, что я могу поехать, ведь так обычно не бывает, с бухты-баряхты, но он не прикидывался, он, похоже, искренно верил, что меня ничто не может удержать, кроме разве что какие-то бытовые или семейные обязательства.

Я тихо рассмеялся, хлопнул Петра по плечу.

— Ты чего? — удивился он.

— Все мне, Петя, казалось, что где-то ждет меня моя судьба. Как бы сказать... Не просто судьба, а на самом деле какой-то важный выбор. Все казалось, что это женщина будет. Появится — и вся моя жизнь как-то иначе пойдет... Я ведь еще несколько дней назад так и думал. А теперь понимаю, что нет. Не женщина это... А это ты, Петя! Ты меня тут и подловил, дождался. — Мне сделалось даже весело — и от своих мыслей, и от той ситуации, в которой я оказался. — Виляла, Петя, виляла моя дорожка среди женщин, а выскочила на мужика с бородой... — Я рассмеялся. Петр стоял в недоуменном ожидании, видать, пока не понимал, куда я гну.

Почему-то сейчас, именно сейчас, в это мгновение мне вспомнилась история про мужа Лили, которого я не знал лично, но знал, что он ликвидатор-чернобылец, который сам напросился на опасную работу. Не настолько же он был тогда молод, слеп и глуп, чтобы не понимать, куда едет? Ради чего же он рисковал своей жизнью и, возможно, жизнью потомства, ведь наверняка думал о будущей жене, о счастливых семейных днях, о детях, а шел ворошить радиоактивный пепел на проклятой АЭС.

— У меня ведь, Петя, дед из казачьего племени. И родом он с Украины... — сказал я.

— Ну, вот и здорово! — подхватил Петр; у него был такой вид, словно он поймал в пруду на крючок большую рыбину, но из пруда ее пока не вытащил. — Если дома не очень-то ждут, так поехали!

Почему Петр надавил «на дом»? Выходит, это было для казаков основным препятствием для поездки на Украину? И тут я поймал себя на мысли, что меня в родном Гурьянске никто не ждет. Фактически никто не ждет. Если я потеряю свой бизнес, его с радостью подхватят партнеры и конкуренты. Жены нет. Сын Толик — не глупый и сам выпутается. А дочка Рита давно самостоятельна и, можно сказать, пристроена к жениху-режиссеру. Я мельком, с наскока припомнил своих последних гурьяновских женщин, но ни на ком не смог остановиться (пока еще самой близкой, избранной и *не пережитой* оставалась Лиля). Все шашни с женщинами, их капризы, сцены ревности, собственные измены и та же ревность показались какой-то непростительной глупостью — ради этого никогда и переживать-то не стоит. Все это вздор!

Вздором казалась и вечная погоня, рвачка за чем-то, за кем-то. Вскользь припомнилось, как переживал из-за денег, из-за неразделенной любви, из-за не сданных вовремя экзаменов в институте, из-за не введенных по договорам стройобъектов, из-за неувязок с богачами-заказчиками, для которых строил особняки; эти жирные коты еще смели повышать на меня голос, а мне порой приходилось извиняться за то, что какому-нибудь чиновному жулику, проницательному депутату вовремя не выложили итальянской плиткой туалет... Даже стало дурно от этих воспоминаний. И стыдно за пережитое.

Тут я вспомнил мать и отца. Они будто бы молча смотрели на меня с надгробных фотографий. Без слов говорили: ты уже совсем-совсем взрослый, сам выбирай себе судьбу... Потом еще жена Анна вспыхнула в сознании. Но она была уже не жена и не могла меня ни остановить, ни благословить.

Петр Калинин, сдержанно улыбаясь, терпеливо ждал. И вдруг он испуганно pokrивился, настрополил весь. В моем кармане, в пиджаке, глухо запиликал телефон. Должно быть, Петр услышал в нем угрозу: звонок словно бы мог все сорвать. Я суматошливо полез в карман, надеясь, что это звонок от Лили. Я любил ее, несмотря ни на что... Позови она меня сейчас к себе, я бросился бы к ней! Я всем своим существом хотел, жаждал увидеть на экране телефона имя Лили. Но на экране высветилось совсем другое. Там было имя «Полина». Откуда она? Что ей от меня нужно?

— Валентин, ты куда пропал? — говорила она нежно, ласково; наверняка с расчетом помириться.

— Я в отпуске...

— А когда приедешь?

— Пока не знаю.

— Я в прошлый раз погорячилась. Извини.

— Ничего, бывает.

— Ты, как приедешь, заходи...

— Зайду.

— Ну, пока. Я буду ждать.

— Пока.

Я спрятал телефон в карман, посмотрел на Петра. Лицо его мне показалось очень родным.

— Ну, что, Валя, поехали? — он произнес это особым тоном. Я дога-

дался, что он спрашивает в последний раз. Да и окружающие его уже ждали.

— Поехали, — негромко ответил я и подал ему свою руку. — Конечно, поехали!

В этот миг будто бы что-то взорвалось, грохнуло. Я даже глаза прищурил, словно вокруг все окрасилось ярким алым цветом от неимоверного взрыва, в ушах стоял стон канонады, на зубах заскрипела песчаная пыль, которая ополаскивала лицо на учениях в армии. И опять одним кадром, одним махом пронеслась пред глазами вся моя жизнь.

«Поехали!»

По дороге, сидя в кузове «Урала», я все поглядывал в маленькое застекленное оконце в тенте. Нет, не потому что впервые видел Ростов. Я хотел увидеть магазин «Канцтовары» или что-то в этом роде.

— Стой! — выкрикнул я, когда прочитал название «Товары для школьников».

— Ты чего? — испуганно вскинул брови Петр, сидевший рядом.

— В магазин схожу. Надо купить альбом для рисования.

Казаки, что сидели рядом, недоуменно заулыбались, а Петр понятно кивнул. Он знал, что я и в армии занимался «порисовками» — так я называл свои рисунки, сделанные на бумаге или картоне черной гелевой ручкой.

Когда я возвращался из магазина к машине, почему-то думал о Полине. Интересно, смогу ли я по памяти ее нарисовать. Пожалуй, это и будет моим первым рисунком в альбоме. Ведь она позвонила мне перед самым отъездом.

Я забрался в кузов, Петр добродушно сказал:

— Мы тут тебе позывной придумали. Без позывного нельзя. Конспирация такая... Не кличка, заметь, а позывной, по фамилиям и именам не надо.

— Какой?

— Пикассо! И художник, и звучно, и непонятно как-то. Вроде итальянец.

— Пикассо французом был.

— Не все ли равно! — усмехнулся Петр. — Ну, согласен?

— Как скажешь, начальник.

Альбом был такой хороший, такой манящий! Бумага плотная, чуть-чуть шероховатая, на такую черный гель кладется красиво, четко. Я радовался приобретению, как в детстве.

